

Дмитрий КУРИЛОВ



Маёвский
букварь

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Дмитрий Николаевич Курилов

Маёвский букварь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64255638

SelfPub; 2021

Аннотация

«МАИ – это моя молодость. Как сказал мой однокурсник Костик Злобин, это были годы свободы, красоты и счастья. Поэтому и появилась эта книга – как память об этом счастливом времени, о нашем самом творческом институте города Москвы. Конечно, это – прежде всего мой опыт: первая любовь, первые песни, первый бардовский слёт, стройотряд, путешествия по Кавказу автостопом, работа на базе МАИ в Крыму. И я очень благодарен однокурсникам, которые поделились со мной своими историями. «Маёвский букварь» – сборник рассказов, баек, новелл, каждая из которых – своеобразный документ эпохи. А в целом – это такая «маёвская библия» беспокойных времён перестройки и, конечно, галерея портретов моих современников, студентов и студенток. Содержит нецензурную брань.

Дмитрий Курилов

Маёвский букварь

.Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.

А

Авиационный институт

Авиационный!

Ты манил меня своим небесным, высоким, московским названием -

Авиационный! -

Трудновыговариваемым,

Далёким,

Почти недостижимым!

Авиационный! -

Мечта провинциала-десятиклассника с улицы Крупской...

Я летел к тебе, сломя голову, как юный ястребок на новые неоглядные горные пастбища – дивные места для клёвой охоты очередного покорителя столицы,

в дремучей своей костромучести

полагая
твои огромные аудитории...
костры твоих каэспэшных слётов...
барабаны твоей самодеятельности...
надёжным убежищем от моей безнадёжной затурканно-
сти...

....а после бежал от тебя, как из-под паровоза -
от плоского твоего юморка...
от жутких твоих предметов и дисциплин...
перечёркав, скомкав и выкинув к чёртовой бабушке твои
грёбанные чертежи с убийственными ракетами «воздух – воз-
дух» и «воздух – земля» -

нафига перестройке ракеты?
бежал от тугого и спёртого воздуха твоего, прокрученного
в аэродинамических трубах -
бежал, чтобы насладиться воздухом свободы – к литера-
туре, к свободе творчества, к любимой женщине, наконец...
Авиационный!

Брошенный мной, но всё ещё любимый,
потому что ты – молодость,
ты – весна,
ты – эта глупенькая наивная песенка, бередящая душу от-
туда,
из прошлого,
всё-таки светлого и радостного,
потому что

молодость и искренность,
потому что:

В синих лужицах небо кружится...
По бульварам притаилась тишина...
Долгожданная, улыбается
По проспекту Ленинградскому весна...

Эх, на Соколе бы выставить милицию,
Чтоб весну в МАИ подольше не пускать!
Там студенты – им еще учиться бы,
Им бы сессию сдавать...

Ты – моя Весна, Авиационный! И этим всё сказано.
Потому и снишься мне весенним кошмаром,
персональным моим фильмом ужасов:
пронзает меня холодом сумасшедшая мысль -
ведь я... не закончил тебя, Авиационный,
а я должен, должен, должен тебя закончить!

И я мечусь, обливаясь потом:

надо же писать диплом!

сдавать хвосты за пятый курс!

бегать по комнатам, умолять «ботаников» о помощи!

договариваться с деканатом – всё-таки двадцать восемь
лет прошло, не хухры-мухры...

То есть всё возвращается сначала.

Я возвращаюсь к тебе, Авиационный!

Я – снова твой студент.

Вечный -

как небо над твоими самолётами...

Агитбригада

1985-й год. Я очень хочу попасть в стройотряд «Звёздный». Это самый элитный стройотряд авиационного института. Право трудиться в нём два летних месяца надо заслужить.

Нужно ходить на субботники.

А ещё неплохо проявить себя в чём-нибудь экстраординарном. Например, написать сценарий для агитбригады «Звёздного».

Поскольку в субботниках я себя зарекомендовал не в лучшем виде, пришлось заняться агитбригадой.

Нас было четверо – я и Женька Блинов с гитарами и две девушки курсом постарше (кстати, единственные девчонки в этом стройотряде). Девушки с Женькой заодно участвовали и в выносе знамени – ну, знаете, обычно знамя дружины или отряда выносят втроём: долговязый и худой паренёк несёт само знамя, а по бокам шагают с красными лентами через плечо девушки в пилотках.

Наши девчонки были типичные вот эти самые – сопроводительницы знаменосца.

Короче, состав агитбригады был утверждён. Срочно был нужен репертуар, потому как дело шло к конкурсу.

На написание мне дали, кажется, неделю.

Время, если вы помните, было невнятное – Андропов уже помер, Черненко ещё нет, и никому из нас в самом страшном сне не могла присниться перестройка.

Наши атомные подлодки несли вахту по всему миру. А в советской прессе полным ходом шло широкомасштабное осуждение американского учёного Коэна, придумавшего нейтронную бомбу – штуку, которая убивает только людей, но не разрушает ни здания, ни механизмы.

В общем, тему нашего выступления подсказывал сам дух времени, материализовавшись в громкий шёпот представителя парткома.

Но меня можно было и не учить миролюбию. Я с детства рос миролюбивым. И двуличным, как все советские люди. Например, мог в один и тот же день написать блатную песенку и стихотворение памяти вождя (1982):

Снимите шапки перед гробом коммуниста!

Набат сердец народных, по стране ударь!

Скажите все и поклонитесь низко:

«Спасибо вам, наш генеральный секретарь!»

Нечто подобное на полном серьёзе распевал Иосиф Кобзон.

Но оставим Кобзона в покое. Дело не в нём. А в том, что

из-под моего пера, без всякой парткомовской подсказки ещё до моего поступления в «Звёздный» выходили песенные хиты, выдержанные в нужном идеологическом ключе.

Все они и составили костяк нашего выступления.

Например, шедевр о господине Коэне начинался так:

«Отец нейтронной бомбы мистер Коэн

Сегодня очень весел и спокоен...»

Покритиковал я и господина Рейгана:

«На берегу Потомака,

В доме белее кости

Мужчина трясётся от злости,

Вновь начиная атаку, атаку на мир».

И припев:

«Нет, мистер Рейган! Нет, мистер Рейган!

Жизнь – это не Голливуд!

Нет, мистер Рейган! (2 раза)

В мире живые люди живут!»

Но гвоздём программы стала песня, агитирующая за мир во всём мире. Творческую задачу я понял буквально и написал глобально, буквально призывая весь мир бороться за мир. Звучало это примерно так:

«Вставайте, вставайте, вставайте, народы

За светлое завтра во имя свободы!

К стремлению к миру мы будем тверды:

Смыкайте ряды! Смыкайте ряды!»

Две малорослых девочки маршировали за мной в ногу и подпевали дружными девичьими голосами:

«Вставайте, вставайте, Москва и Варшава,

Париж и Оттава в едином строю!

Пока не свершилась над нами расправа,

Вставайте, вставайте за землю свою!»

Замыкал наше шествие Женя Блинов, тоже с гитарой, и также в унисон подпевал:

«Вставайте, вставайте! Сердца открывайте!

Борьбу продолжайте против войны!

Всемирный протест против зла поднимайте!

Мы миру нужны! Мы друг другу нужны!!!»

Подчёркивая международный характер наших миролюбивых устремлений, мы спели чилийское «эль пуэбло унидо хамас сэра вэнсидо», а также знаменитый американский хит «We shall overcome, some day»

Ну и в завершение мы не могли, конечно, оставить в покое тему ядерной войны. В шлягере, посвящённом нашей пламенной борьбе против неё, мы пели:

Чтобы ракетный смерч

Не смог нашу землю рассечь,
Встать мы должны
Против войны,
Землю от смерти сберечь.

Моему соседу Серёге Тонконогову безумно нравилось окончание первой строфы «эрч» на конце слова «смерч».

Он так и просил меня: «Курилыч, спой эту, где на конце буква «Эрч»!

Сами понимаете, таких выступлений с большой буквой Эрч – ни у кого больше не было, и мы пламенно победили на этом самом конкурсе агитбригад – то ли факультета, то ли всего института.

Мне лично пожали руку командир и комиссар нашего стройотряда, и вопрос о моём вступлении в стройные ряды бойцов «Звёздного» был немедленно решён в положительную сторону.

Жалко, в строяк я так и не попал – завалив два экзамена в весеннюю сессию, я предался пессимизму и трусливо, молчком, по-английски, взял да и уехал домой. Чем изрядно шокировал руководство «Звёздного» и обидел поручителя своего Женьку Блинова, которого уже не видел тыщу лет и который, по слухам, стал православным священником и песен Розенбаума, наверно, больше не поёт...

(на эту же тему см. ст. «Хмырёк с вилами»).

Алушта, солнце моё!

Так исторически (или истерически) сложилось, что на четвёртом курсе я, испив до дна горькую депрессию, вызванную безответной любовью, ушёл в академический отпуск и записался в ПССО – постоянный студенческий стройотряд, придуманный как раз для таких, как я, студентов – подуставших и подотставших от учебной программы.

Нас не отчисляли и не отправляли под знамёна Красной Армии.

Нас грузили в поезд «Москва-Симферополь» и отправляли строить базу отдыха МАИ на самый Южный берег Крыма, между Алуштой и Рыбачьим.

Собственно, база давно была построена, но процесс доводки и притирки продолжался бесконечно, поэтому мы приехали как нельзя кстати. Надо было доделывать элинг – гараж для лодок. Надо было рыть канавы. И вообще помогать своим тяжёлым физическим трудом руководству СМУ № 626, очень заинтересованным в чернорабочих на самых разных своих объектах – их у него, помимо базы МАИ было до фига и больше.

Первое впечатление от Крыма – это яркое солнышко и синее-синее небо, несмотря на февраль.

Экзотика: прямо от симферопольского вокзала нас повёз к Алуште троллейбус – миную горы и перевалы, с равнины –

к морю, обетованному и желанному.

Потом на автобусе нас доставили на совершенно безлюдную базу, где разместили в пустых номерах.

К вечеру на нас набрёл абориген-сторож, удививший нас густым красно-коричневым загаром на своём лице.

Напоминаю, был февраль, а Южный берег Крыма – всё-таки не южное полушарие. То есть февраль в Крыму – это всё-таки скорей зима, чем лето.

– Где ж вы так успели загореть? – спросили мы аборигена с уважением.

– Это не загар, – улыбнулся он во все свои жёлтые зубы. – Это портвейн.

И для знакомства притаранил нам трёхлитровую банку местного красного кислого домашнего вина. Которое, кстати, пришлось очень кстати – поскольку воды в корпусе не было.

И когда утром мы решили почистить зубы, ничего лучше не придумали, как отправиться к морю, лежавшему от корпуса метрах в двадцати.

Эту процедуру я тоже запомню навсегда: утреннее ласковое солнышко, нежные волны у ног и полный рот солёной воды.

Вода была ну очень солёной – пришлось выплюнуть. И захотелось пить.

Остатки красного вина были к нашим услугам.

И, несмотря на бытовые неудобства, недавнее фиаско в

личной жизни и провал в учёбе, я почувствовал себя счастливым, щурясь на это райское солнышко, глядя в это бескрайнее синее-синее небо – я такого синего больше никогда не видал.

Да, что характерно – и ни облачка.

Значительно позже, ознакомившись со статистикой в Интернете, я был неприятно удивлён: в Италии, к примеру, чуть ли 270 солнечных дней, а в России, наоборот – чуть ли не 300 пасмурных. Сама погода воспитывает в нас нашу грусть.

Но только не в Крыму. И только не в том 88-м году.

Вспоминая тот день, я словно снова облизываю солёные от морской соли губы и благодушно шелещу:

– Алушта, солнце моё! А вот и я...

Английский юмор от Шуры Шмурнова

Шура сейчас известный футбольный комментатор, а на первом курсе был в нашей группе комсоргом.

И большинство за что-то Шуру активно невзлюбило.

Возможно, инстинктивно чувствовало, что он здесь, в техническом вузе, немножко чужой.

Да он этого и не скрывал. Немножко снобил, бывал высокомерен. Заявлял, что на МАИ образование завершать не собирается. Метил, кажется, в МГИМО или в ИнЯз.

Короче, Шуру довольно быстро с должности комсорга свергли.

А он и не особенно расстроился.

Шура впервые познакомил меня с запрещёнными песнями Галича и фольклорной песней про засекреченного физика.

Слуха у него практически не было, голоса тоже, но желание горело.

Но не меньше песен запомнились его английские анекдоты.

Не знаю, откуда он их брал – может, из английских журналов. Может, и сам выдумывал.

Как-то по телику один из артистов рассказал Шурин анекдот, но изложил его крайне вульгарно и невнятно.

Попытаюсь исправить ошибку.

Итак, Лондон, вечер. Сэр Джон у себя в кабинете читает вечернюю «Таймс». Входит сэр Гарри:

– Ваша жена дома, сэр Джон?

– Дома, сэр Гарри, у себя наверху.

Сэр Гарри снимает макинтош, вешает зонтик и по скрипучей лестнице поднимается наверх...

Утро. Сэр Джон у себя в кабинете читает утреннюю «Таймс». По лестнице спускается сэр Гарри. Он надевает свой макинтош, берёт зонтик и задумчиво говорит:

– Ваша жена была сегодня довольно холодна, сэр Джон.

– Да, сэр Гарри, – отвечает сэр Джон, не отрываясь от газеты. – Она и при жизни не отличалась особым темпераментом...

Артистка

Хмурый 85-й. Или хмурый 86-й.

Я – в компании угрюмо сосредоточенных каэспэшников.

Мы не просто поём бардовские песни.

Мы поём их с ненавистью к эстраде.

Мы тем самым клянёмся друг другу в нашем общем деле.

И ужасно горды собой.

Наш вождь, вечный студент Женька Меренков из соседней комнаты, чтоб не пропали ноябрьские праздники, потащил нас в Ленинград. В Ленинграде у Женьки брат, он работает дворником и за это имеет отдельную квартирку в полуподвале.

На праздники Женькин брат куда-то отвалил, вот Женька и заманил нас в этот северный город и в эту отдельную квартиру.

Сколько нас было, и какого мы были пола – не помню, но ехали мы все в одном купе. Наверно, четверо – а может, т больше – и кто-то потом ушёл спать в другое купе? Хотя вряд ли мы спали – мы пели всю ночь, от Москвы до Ленинграда.

Не заметить нас было трудно. Поэтому вскоре в нашу дверь поскреблись, и на пороге возникла улыбающаяся девушка чуть постарше нас.

Прежде всего, девушка была красива. И даже больше того – прекрасна. Без дураков и без извилин, как говаривал Па-

стернак.

Ещё от неё пахло дорогой французской косметикой. Может, и не французской и не дорогой – но пахло приятно. А может быть, это была и не косметика. Может быть, так пахло её тело. Приятное тело.

А ещё она была хоть и ненамного старше нас (а может даже и не старше) – но всё равно какая-то взрослая.

Уж эту разницу наша компания поющих девственников просекла – вместе с запахом её, улыбкой и красотой.

Мы даже на миг прекратили петь, когда она вошла.

А она вошла – в смысле залетела, как бабочка, как раз на наши песни. И как паучиха (но красавица-паучиха – цветная, полномасштабная, глянцева) сразу опутала нас своим обаянием.

Ещё она была слегка подвыпившая, что её только ещё больше украшало.

Выяснилось, что наши общие песни ей знакомы. А незнакомые песни понравились.

Ещё выяснилось, что девушка эта учится в школе-студии МХАТ на одном курсе с Мишей Ефремовым и Никитой Высоцким. И она живописно рассказала нам, как Миша Ефремов отказался сдавать историю партии – ну, может, и не отказался, но бузил что-то в этом роде – антисоветское, вполне в духе времени, поскольку перестройка приближалась вкупе с неумолимым ускорением.

Девушка, конечно, представилась. Кажется, Люба. Или

Лена. Мы пропели почти до самого утра, мы даже что-то пили. За ней заходила её подруга (кажется, Соня) и два каких-то парня с невыразительными унылыми харями. (Впрочем, с остальными частями тела у ребят было всё в порядке, и это, видимо, перевешивало унылость и неинтеллигентность харь).

Соня и мальчики звали Любу-Лену «домой», в своё купе. Видимо, без неё у них там что-то не получалось. Мне же не хотелось верить, что эта симпатичная молодая актриса участвует там в чём-то неприличном. Может, поэтому Люба-Лена всё не уходила и не уходила.

Расстались мы в лучших чувствах. Обменялись телефонами – московскими и питерскими. Лена-Люба клялась, что мы обязательно встретимся – если не в Питере, то в Москве-то уж точно. Да нам даже звонить не надо – можно просто придти к ним в общагу.

Мы все были впечатлены и очарованы.

И когда приехали в Питер, выдержав небольшую паузу, позвонили по указанному телефону.

Нам никто не ответил.

Мы позвонили ещё раз. Люба-Лена скучающим голосом сказала, что занята. И завтра тоже занята. А послезавтра возвращается в Москву.

Наш маленький коллектив почувствовал себя маленьким коллективным отвергнутым любовником, обиделся и больше Любе-Лене не звонил.

Мне же по этому поводу вспомнилась тётя Роза из Денискиных рассказов Драгунского, которая всё время что-то красочно обещала маленькому Дениске, а потом про свои красивые обещания благополучно забывала. И папа Дениски (или мама Дениски) что-то такое нехорошее в конце рассказа про эту лживую тётю сказали.

Сказали свои слова про лживую Любу-Лену и мы. Но всё-таки не матом. И скорей с сожалением, чем со злом.

И ни в какую общагу школы-студии МХАТ мы, разумеется, не попёрлись. Хотя некоторые из нас (например, я) порывались, но в одиночку идти стеснялись. А остальные разубеждали нас весьма аргументировано: типа, на фиг мы этой артистке сдались?

И действительно. Это была просто случайная встреча. Которая и осталась в нашей памяти случайной встречей.

А уж осталась ли она в её памяти – сомневаюсь. Наверняка, её ждала интересная артистическая жизнь.

Жалко, координаты Любы-Лены затерялись где-то в одной из моих утерянных записных книжек, и я не могу даже проверить, стала ли эта ясная звёздочка настоящей кинозвездой.

Очень хочется верить, что стала. Несмотря на то, что она нас так незаслуженно проигнорировала.

Но мы всё-таки ВМЕСТЕ провели целую ночь, мчась на скором поезде вперёд и с песней!

Афганцы

Афганцами, если вы ещё не забыли, у нас в стране называют не только жителей страны Афганистан.

Афганцами (только в кавычках, вот так: «афганцы») у нас в стране называют военных, прошедших службу в ограниченном контингенте советских войск в этом самом Афганистане.

У нас в МАях «афганцев» было немного.

Часть из них пришли в 1983, а потом и в 1984 году на абитуру вместе с нами, сопляками. А они уже успели побывать в этом пекле. Назовём их ретро-афганцами.

Но их было мало. Поступили ещё меньше. А доучились до конца вообще единицы. Почему? – читай ниже.

А ещё были ребята, наши сверстники, поступившие с нами в 1984 году на 1-й курс. В МАИ как раз отменили военную кафедру, но к ноябрю успешно восстановили. И большинство 18-леток уйти на службу не успело, хотя некоторые даже побрились наголо. Один из них, Дима, заслуживший характерную кличку Лысый, обрился навсегда – видимо, настолько впечатлил его этот его не-уход в армию.

Но ведь осенний призыв, если вы помните, начинается с 15 октября. И некоторые счастливики успели-таки в армию загреметь. Не знаю, почему, но (видимо, такая была разнарядка) – почти все эти счастливики попали в Афган.

Назовём этих везунчиков младоафганцами.

Из ретроафганцев с нами учился некто по фамилии Захарченков. Звали его, кажется, Леша.

Есть люди, которых можно охарактеризовать одним словом.

Захарченков был Тихий. Подозрительно тихий. За всё время нашей совместной учёбы я от него не услышал ни слова. Он молчал, как партизан. И только чему-то улыбался таинственной тихой улыбкой. И была эта улыбка ну... не то чтобы смущённой или стеснительной... Нет. В этой тихой улыбке присутствовал страх. Будто Захарченков чего-то боялся и в качестве защиты выставлял эту робкую улыбку.

Ну, поначалу мы особого внимания на это всё не обратили.

А потом... потом вдруг всё сошлось.

Захарченков постепенно перестал ходить на занятия и как-то затерялся.

А через неделю мы вдруг узнаём, что сегодня ночью он был задержан на вахте родного института в обнимку с подушкой.

Внятно объяснить цель визита он не смог. Он, как всегда молчал и тихо улыбался.

Это сочли уже диагнозом и отвезли его улыбаться в психиатрическую лечебницу.

Больше мы его не видели.

А наши младоафганцы вернулись ровно через 2 года на 1-й курс – в то время когда мы уже учились на третьем.

Из младоафганцев я запомнил Вовку Быченкова.

Говорят, ему снились кошмары, а вспоминать об Афгане он не любил.

Но буквально через год началась перестройка, начали возникать всяческие формы маленького бизнеса типа «кооператив», и Быченков как-то торопливо влился в этот процесс. Будто спешил. Будто его преследовали или догоняли.

В Красном Уголке организовал видеосалон, где за деньги показывал зарубежные фильмы с видеомagneтoфона.

А потом пошло-поехало.

И, в общем, теперь у него, не сомневаюсь, всё хоккей.

Вот такие две модели постафганского синдрома: негативная и позитивная.

Тихий Захарченков и торопливый Быченков.

У одного – психика, у другого – нервы.

Наверное, бывают и другие афганцы – но лично я знал только этих двоих.

Дай им Бог здоровья.

Б

Бабушка Божий Одуванчик

– одна из двух старушек-вахтёрш, сидевших на посту общежития шестого факультета по адресу Дубосековская, 9.

На вид ей было лет 90, а может и все сто.

Её бледные одежды – шляпу с цветочком фасона 1920-х годов, и мышинового цвета пальто – выдали наверняка уже с небесных складов.

Двигалась она медленно, и уже не шла, а будто бы скользила, лёгкая, как тень, невесомая...

А голос... голос тонкий и слабый – звучал явно с того уже света. Этим своим слабым голоском она пыталась протестовать, когда мы шли мимо неё, не глядя, не чувствуя её в этом мире: «Молодые люди... (пауза)... предъявите документы...».

Потом она повторяла эту фразу на немецком и французском языках. Потому что закончила Смольный институт благородных девиц буквально незадолго до нашествия туда большевиков.

Молодые люди её абсолютно игнорировали, и она принимала это как данность, но, тем не менее, время от времени, словно проснувшись, шелестела: «Молодые люди... документы... паспорт... аусвайс...»

Наверно, мы ей снились, и она с лирическим безмолвием наблюдала каждый день дежурства этот славный сон, полный молодых людей – может быть, и она рядом с нами чувствовала себя моложе?

Как бы то ни было, с каждым днём она становилась всё бледней, всё прозрачней, пока не растворилась в воздухе окончательно... И только иногда из образовавшейся на её месте пустоты раздавался слабый, потусторонний голосок:

«Молодые люди... документы...» – и тихий вдох... и совсем уже неслышный выдох... – именно так и дышат, должно быть, божьи одуванчики...

Багира

Мы познакомились в литературном объединении «Бригантина», когда она была ещё десятиклассницей. Помню, на ней ещё были какие-то полудетские колготки, своим рифлением слегка утолщавшие ноги.

Волосы у неё очень чёрные и очень длинные, кожа смуглая, глаза карие, диковатые и с огоньками. И губы пухлые. И на губах часто улыбка. Она вообще хорошо улыбалась. И выглядела старше, чем школьница. А что вы хотите – южная кровь.

Мама-балерина – дочь татарина и украинки, мифический папа – чилиец с армянской примесью.

Вот такая гремучая кровь текла в этом смуглом теле.

Маринка, лидерша нашей «Бригантины» её недолюбливала – возможно, ревновала к Лёньке. Когда я начинал приводить Маринкины аргументы её, Багириной, вины, она надувала пухлые губки и капризно хныкала «Я – хорошая...»

Я даже не помню, как развивались наши отношения.

Ей нравились мои песни. Нравились они и другим девочкам.

Она меня хвалила. Хвалили и другие девочки.

Так прошёл год, другой...

И вдруг на одном из заседаний, словно почувствовав, что у меня никого нет, Багира просто взяла и уселась мне на колени. И рука моя непроизвольно обвила её подвижный стан. И успокоилась где-то в районе живота.

А потом я загремел в ПССО, на полгода скрылся в Крыму. Мы переписывались.

Весной я нагрюнул в Москву на несколько дней. И, кажется, мы впервые поцеловались.

Потом я снова уехал на ударную стройку южной базы МАИ. Мы снова переписывались. О чём-то серьёзном, включая политику.

И вдруг неожиданно она пригласила меня к своей бабушке-украинке, в степной крымский город. Этакий хэппи-энд дней на семь после полугода стройки. И какое-то странное существование в этом доме – на правах почти жениха. Или кандидата в женихи.

Я жил в отдельной комнате, с отдельным входом. И Багира приходила ко мне. Целоваться.

А ещё мы ездили на пляж под Евпаторию в душном автобусе и лежали там рядышком (на пляже, а не в автобусе), с трепетом касаясь друг друга пальцами рядом лежащих ног.

И было это очень... ну, сексуально, как ещё сказать?

Правда, вдвоём нас беспокойная Багирина мама не отпускала далеко. Например, в парк.

Я возмущался. Багира перешла на второй курс универси-

тета. А её мама не отпускает.

И мы всё-таки ушли в парк. И целовались там.

А потом нам влетело, и я впал в немилость. У этой самой мамы. Она чего-то такое говорила, что другие мальчики такого себе не позволяли. Альмир, например. И я вынужден был пообещать, что впредь такое не повторится.

Уже в Москве я часто встречал Багиру из института – она училась на вечернем. Мы шли от «Белорусской» по Ленинградке, заходили на детскую площадку в укромной темноте какого-то двора, в какую-то избушку – и целовались.

И Багира однажды сделала мне замечание, что я, мол, не так обнимаюсь. Я обиделся: а что, есть с кем сравнивать? Она ускользнула от ответа. И от меня ускользнула.

Но потом мы снова целовались, в очередном дворе.

Провожание заканчивалось в их однокомнатной квартире, на диване, и мама вежливо уходила на кухню, а Багира расстёгивала пуговицы на блузке и брала мои руки в оборот. Ну и губы, разумеется.

Потому что большую часть нашего времяпровождения мы молча и жадно целовались.

Шли по улице и целовались.

Ехали в метро и целовались.

В театре мы целовались чуть ли не на сцене.

Но слаще всего нам целовалось на вечерах поэзии. Коржавина ли привезут, Рейн ли поминает друга Бродского, ссорится ли со зрителями обиженный Леонович – мы сидим се-

бе в укромном уголке и целуемся. Багира сама засовывала мои руки себе под блузку. И сама прижималась губами к губам.

И я уже привык к этому положению: руки на груди, губы – к губам. Удручало только одно: Багира позволяла делать с собой всё, но почему-то только с верхней своей частью. Словно ниже пояса её не существовало. Ну, точно дама в колоде карт.

Пиковая дама – потому что была Багира жгучая брюнетка.

– Она даёт себя гладить только до пояса» – жаловался я опытному Подобедову. – Её заклинило – выйти замуж девочкой.

– Всё это до первого траха, – грустно улыбался Подобедов. – Она сама ещё не понимает, каким телом владеет. Говорить и думать она может, что угодно, но тело-то требует своего».

– Чего? – наивно переспрашивал я.

– Мужика, – вздыхал Подобедов и с глубоким скепсисом осматривал мою фигуру (тщедушную, написал бы я, и Подобедов написал бы так же, но я ведь не был тщедушным, я всегда был полноват): – «Нет, вы не пара...»

– Это ещё почему?

– Потому что ты её не удовлетворишь...

А потом я серьёзно заболел, и лежал с температурой в общаге. А пугливая мама не пускала Багиру меня навестить. Я

звонил, я скучал, я обижался, кричал что-то в телефонную трубку, но она так ко мне и не пришла.

Хуже того – пока я болел, она нашла мне замену. Я это почувствовал, потому что из Багиры сразу посыпались какие-то чужеродные слова, мужские слова. Какое-то пошло-ватое выражение (я его забыл), она им упивалась, она его подцепила, очевидно, вместе с поцелуем, и упивалась им, произнося вслух как некий символ принадлежности другому.

Я увидел этого Женю лет десять спустя. И я уже был женат, и они уже были в разводе.

«Заморыш» – наградила его наблюдательная Света.

Я пригляделся – действительно, так и есть. Чем же он её взял? Этот скучный, худосочный, ТЩЕДУШНЫЙ паренёк?

Видимо, так сошлись звёзды. Видимо, Подобедов был прав. Когда Багирино тело победило мусор в её голове, этот мальчик просто оказался рядом. И как написал бы Аверченко, у них «всё заверте...»

Как все восточно-южные женщины, Багира быстро поправилась и от этого стала казаться короче – в смысле, ниже. Короче, из всего вышесказанного ниже следует: смысла в наших отношениях не было никакого.

Но красота была. И упоенье было.

Барыковские страсти

Июль 1989-го года. Мобильников ещё нет. СССР ещё есть. Я путешествую на теплоходе «Зосима Шашков», населённом работниками МИДа на отдыхе.

Разумеется, я не работник МИДа. Я – в составе бригады артистов: один разговорник, одна оперная певица, два диск-жокея и два барда, постарше и помоложе. Я – помоложе.

Мы приезжаем в Питер, тогда ещё именуемый Ленинградом. Туманное утро. У меня полный карман 15-копеечных монет. Я горю желанием обзвонить всех знакомых.

На дебаркадере – междугородный аппарат.

Первым я набираю Её номер в коммуналке и слушаю длинные гудки. Первая пятнашка проваливается и...

– Алло... – говорит задумчивый голос молодого мужчины.

– Алё? – кричу я, сторая от нетерпения, – А можно Свету?

– А её сейчас нет... – задумчивым эхом отвечает мужчина. – Что-нибудь передать?

Что-то в его тоне меня настораживает. Последний вопрос он произнёс так обыденно, что это начинает смутно волновать...

Автомат глотает вторую «пятнашку».

– А это кто? – спрашиваю я умирающим под шёпот волн голосом.

– А это... муж... – отвечает волшебное эхо.

– Простите, чей... муж?

– Светы...

– Домбровской?

– Домбровской. А вы кто?

Автомат глотает третью «пятнашку»...

В самом деле – а я кто?

Я повесил трубку, и разговор, только что бывший в настоящем времени, тут же провалился в прошлое.

Весь мой организм трепетал вразнобой с гудящим дебаркадером. Слов не было. Одно сплошное оцепененье.

«Ни фига себе!» – подсказало слова ёкнувшее сердце.

«Ни фига себе...» – согласился шокированный мозг.

И это «ни фига себе» поплыло, расплываясь волнами по влажной атмосфере притихшей утренней Северной Венеции – в смысле, Ленинграда, которому вот-вот предстояло снова стать Санктъ-Петербургом...

Хотя, собственно, поводов впасть в шок, а тем более в трепет, особенно и не было. Ну, муж и муж.

Может быть у человека, в самом деле, муж?

Вполне.

Да, Света не говорила, что он у неё есть.

Но она и не говорила, что его у неё нет.

И всё-таки тот факт, что они всё-таки оказались друг у друга, меня несказанно не обрадовал.

Дело в том, что я вообще не люблю, когда у знакомых девушек имеются мужья. А тогда, в дни суровой молодости и

вечных поисков подходящего партнёра для того, чтоб идти с ним по жизненному пути – тем более ненавидел.

«Муж – объелся груш» – вот как я их всех обзывал.

Мы познакомились весной на бардовском фестивале в некоем зале на улице Чернышевского (ныне – Покровка). Фестиваль проводило некое аморфное объединение московских литобъединений.

Записку об этом воскресном мероприятии мне оставила на вахте общаги моя знакомая по «Бригантине» смешливая первокурсница-филологиня Наташа. Тот факт, что она специально проехала пол-Москвы, чтобы оставить мне эту записку, говорил о многом.

Хотя бы о том, что я для неё что-то значу.

Плюс та торопливость, с которой она всё это осуществила – положила записку в ячейку с буквой «К» и поспешно ушла.

Такие подарки делают только влюблённые люди.

А я ей даже не позвонил. Не из невежливости. Просто я обнаружил записку буквально утром того дня, когда проходило мероприятие. Потому что ленился проверять почту каждый день.

Я схватил гитару и бросился на этот конкурс – самозабвенно, как на амбразуру.

Пел я свою тогдашнюю чушь и, кажется, победил с этой чушью.

А после выступления в фойе ко мне подошла девушка с

сияющей широкой улыбкой, пролепетала какой-то комплимент и предложила посидеть в саду «Эрмитаж» втроём – с её толстогубым кудрявым приятелем, который тоже участвовал и, кажется, тоже победил.

Я немножко застеснялся, но с ними пошёл и, зажатый, даже не стал возражать, когда она пару раз назвала меня Костей.

Девушка продолжала улыбаться. Толстогубый друг, по преимуществу, молчал. Я односложно отвечал на поставленные вопросы.

Вот так весело прошла наша первая встреча.

Потом мы выяснили, что я не Костя. И организовали некий бард-театр с громким названием «Ренессанс». В этот театр вошли три барда – я, толстогубый Светин друг по имени Олег и артист по имени Вадик, проживающий в общежитии ВГИКа.

Собственно, нас троих ничего не связывало. Мы даже по песням были не близки. Связала нас только Света. Она стала нашим администратором. Мы выступили пару раз там-сям, по паркам, по летним театрам.

А потом я зафрахтовался на мидовский корабль «Зосима Шашков», следующий по маршруту «Москва – остров Валаам – Чебоксары – Москва». На 20 дней.

Мобильников в 89-м, как я уже говорил, не было. И я звонил ей вечерами из разных городов.

Узнал, что у неё есть муж.

А на двадцатый день на Речном вокзале она меня встретила. Как родного.

Я, кажется, отвёз вещи в общагу. Вечером мы встретились на Арбате. И долго сидели у неё в коммуналке на Барыковском (муж с компанией уехал – нет, не в командировку, а на юг. А она почему-то (?) осталась). Еды было много. Шампанское по кооперативно-спекулятивной цене – 25 рэ бутылка. И я заночевал в соседской комнате.

Потом, чтобы мне не возвращаться в общагу, Света дерзко заселила меня на 10 дней в семью к Олегу – Олег тогда уехал на гастроли с театром Моссовета, кажется, в Англию, он работал там осветителем. В театре, а не в Англии, разумеется.

А потом я уехал в Кострому и вернулся 23 августа, чтобы отпраздновать день рождения с новыми друзьями. Договорились встретиться у тоже-барда Димки Орлова.

Приезжаю в общагу утром – а там сосед Андрюша. И не один. Он специально вернулся пораньше из Ташкента, чтобы пожить в своё удовольствие с какой-то девушкой. Меня там явно не ждали.

Звоню Орлову – он дико извиняется, говорит, что заболел и потому принять нас не может. А у Светы в коммуналке тоже полный боекомплект. Знакомиться с мужем я упорно не желал.

Орлова я всё-таки уломал, и мы явились к нему – с Олегом

и Светой.

А потом я повадился ходить к Свете в гости – вечерами, и почему-то когда мужа нет. Мы сидели, пили шампанское, болтали, я пел новые песни, читал стишки.

Мы даже танцевали под музыку Нино Рота.

Смеркалось. Мы не включали свет.

И когда она меня вдруг обняла и поцеловала, я замер, как несовершеннолетняя девушка, не знающая, что дальше делать и как это оно бывает.

Или как суслик, загнанный в угол.

Или как... что?

Аналогии кончились. Мысли оборвались. Остались только чувства, и как писал писатель Аверченко – у меня «всё заверте...»

Мы ходили в обнимку по переулочкам Арбата. Практически не отлипая друг от друга.

Мы фактически не разговаривали. Мы заговорщицки молчали. И целовались-целовались-целовались.

Так – что губы у меня к концу вечера затекли.

А ведь где-то в этом городе – а может быть, на юге – ходил по этой планете вполне осязаемый Светин муж.

Третий лишний нашего вспыхнувшего навсегда романа.

Не знаю, жил ли он в её сердце, но, казалось, я вышиб его оттуда одним ударом. Сердце женщины... оно ж и так – маленькое. В нём никак не уживётся двум мужикам. Кто-то должен был съехать.

Поцелуями пока всё и обошлось. Взволнованный и разгорячённый, я долго не мог уснуть в соседской комнате, почему-то всегда пустовавшей – словно для таких, как я, залётных гостей.

Событие не могло не аукнуться стихотворением:

Горела люстра беспорядочно
что было сил.

Я приходил к Вам лихорадочно
и Вас любил.

И пела скрипка где-то около
(с седьмых небес).

И барабанил кто-то в стёкла
и в гости лез.

Лилась лиловая мелодия
издалека,
и мы в плену чревоугодия
и коньяка

сулили пылкое растление
своим телам

в полутоске, в полупрезрении
к иным делам.

Есть в этом нечто шарлатанское -
и рай, и ад -
шипит «Советское шампанское»
и сладок липкий шоколад!

А потом ещё и песню, полную таких же неуёмных восторгов и диссонансом печального резюме:

А в подсознании – осень, тучи, спешка,
съедает слёзы сигаретный дым
и королева, как простая пешка -
и плачется, и любитя с другим!

Я весь отдался творческому порыву, нагло забросил учёбу.

Я даже сбежал из общаги.

Меня приютила таинственная женщина Инна, поселив меня в комнате с младшим сыном-астматиком. Старший сын Инны пребывал в это время в армии и койко-место было свободно. Муж Инны позволил мне носить его лётную куртку.

Удивляюсь, как они меня терпели два с половиной месяца трепетной неопределённости. Когда Инна с мужем ложились спать, я уволакивал телефон из коридора куда-то за угол, отползая поближе к кухне, и висел на проводе часами, безусловно, мешая хозяевам спать.

Мы шептались, а иногда просто молчали, телепатируя любовь в трубку, по проводам, через пол-Москвы и всю эту полудохлую осень...

Несмотря на долгие и страстные беседы, Света всё не решалась.

Однажды я узнал, что она даже не пыталась обозначить тему своему... ну, этому... который... ещё там. Рядом.

А я здесь. Отдельно. Чёрт-те знает где. В Чертанове.

Меня это взбесило, и я объявил телефонный бойкот.

Я спрятался и затих у Инны, как Ленин в шалаше. И, неосознанно подражая вождю, посылал оттуда длинные и вдохновенные письменные воззвания, только обращённые не ко всему российскому народу (всё-таки я был несколько скромнее), а одному-единственному человеку.

Свете.

Я исписывал стихами целые тетрадки.

Бесполезно.

Мы съездили осенью в Таллинн (тогда ещё с одной «н» на конце»). Нас, блондинистых, там принимали за эстонцев.

Мы переночевали в пансионате дома учёных под Звенигородом – я там выступал с концертом. И мы там одновременно наблюдали ночной феномен – небо, разграфлённое тонкими белыми струйками облачков на правильные квадратик-клеточки. Получалась такая таблица во всё небо – хоть в крестики-нолики играй. Это же знак! – сказали бы какие-нибудь мистики-Рерихи. Знак, определённо.

А Света всё не решалась.

Я упросил Коганов одолжить мне квартиру дней на пять. И проторчал там в дурацком одиночестве, потому что Света всё не решалась заговорить с мужем.

Наконец, она решилась. И убитым голосом мне сообщила об истерике Виталика, о том, как он умолял её на коленях. Ну и так далее. Всё это было очень громко и на надрыве – почти как у Блока с Белым и Менделеевой.

Говорят, где тонко, там и рвётся. У них с Виталиком было отнюдь не тонко. Всё-таки семь лет брака, узы те ещё.

Но, в конце концов, она собрала вещи и переехала к маме.

Потом мы на Новый год съездили в Кострому, скрепив союз первым сексом.

Что характерно – у психиатра Виталика тут же нашлась подходящая партия – его медсестра. То ли он заблаговременно подготовил запасной аэродром, то ли обстоятельства требовали срочного создания новой семьи. Но факт остаётся фактом: медсестра родила Виталику двойню ещё раньше рождения нашей Даши.

После новогоднего вояжа в Кострому мы стали жить в двушке у Светиной мамы. Комната в Барыковском опустела. Виталик оттуда тоже уехал.

Он с медсестрой получил квартиру в Строгине (или снимал её? – не знаю). Но не прошло и года, как уехал в Израиль, а потом в Канаду.

Никакой приватизацией в московском воздухе ещё не пахло, и путём нескольких нехитрых комбинаций комната наших встреч, да и вся квартира в Светином доме в Барыковском досталась знаменитому режиссёру Павлу Лунгину.

И кладовка, в которой Света уединялась с телефонным

аппаратом, узурпируя его на несколько часов, по слухам, служит теперь знаменитому режиссёру эдаким мини-бассейном, что при его макси-комплексии выглядит довольно экзотично. Думаю, режиссёр в этом резервуаре не столько плавает, сколько неподвижно лежит, в обрез ограниченный гладкими бортиками сего игрушечного водоёма...

Потом я гордо говорил (не думайте, не так уж часто, да и то, скорей, самому себе), что я увёл Свету у первого мужа.

Я врал. Себе.

Я её не уводил.

Она сама ушла. От него. Ко мне.

А ещё она шутливо меня благодарила за то, что избавил её от Израиля. И удержал на родине, в очень интересном тогда СССРе.

Она тоже ошибалась. Ни от какого Израиля я её не избавлял. Израиль, по большому счёту, был тут вообще не при чём.

Просто... для меня, загнанного в тупик своим творческим взрывом, ошеломительным рывком прочь из технарского окружения – в жизнь, полную чистой лирики и гармонии между тем, что бурлило внутри и тем, что много обещало снаружи – её появление было для меня спасением.

Шансом. Надеждой. На нашу счастливую жизнь.

И ещё это была Весна. Весна, продолжавшаяся больше года – от нашего знакомства до нашей свадьбы.

Весна, в которой было и лето с пароходной разлукой... и

странные встречи в августе... и сумасшедшая осень, за которую мы столько сказали и рассказали друг другу, что хватило бы на целую жизнь... и спокойная тихая зима – уже вместе, уже вдвоём... и двухдневный майский трепет – регистрации, идиотских семейных застолий и торжественного венчания в Храме Всех Святых, когда воск со свечей капал на пальцы, и светлые слёзы текли по щекам...

Блокада

– вторая из старушек-вахтёрш, сидевших на посту общежития шестого факультета по адресу Дубосековская, 9. Абсолютная антагонистка Божьего Одуванчика. По аналогии с добрым и злым следователем, в пику бестелесной ББО Блокада олицетворяла грубое земное начало.

Говорила она, не переставая – громко, пылко и нечленораздельно. Повторяла бесконечным бубнивым рефреном «гады-сволочи-студенты». Все три слова звучали откровенными синонимами.

Долг свой понимала буквально: НЕ ПУЩАТЬ! Нет пропуска, забыл, потерял – нет тебе больше места в нашем общежитии. Потому и прозвали её за бескомпромиссность: Блокадой. Однако вся её принципиальность уходила впустую: через два окна от её вахты находилась умывальная комната. Окна в умывальнике были всегда гостеприимно открыты настежь, и находились в каком-то полуметре от земли. Поэто-

му, забыв пропуск и столкнувшись в двери с Блокадой, мы молча разворачивались, проходили десять метров и залезали в общагу через окно умывальной комнаты...

Большая маёвско-пищёвская битва.

Так уж географически сложилось, что по одну сторону Волоколамского шоссе раскинулась территория Авиационного института, а по другую – Строгановское художественное училище и Пищевой институт.

И так уж сложилось исторически, что с художниками и художницами маёвцы практически не пересекались, а вот с пишевиками (точнее, с пишевичками) – видимо, как с социально близкими, у нас сложились серьёзные отношения и возникли связи, для многих из моих сотоварищей обратившиеся в брачные узы.

Вообще-то маёвцев манили не только девушки. При общаге пищевого была потрясающая столовая, где готовили блюда в сотни раз вкуснее, чем в наших «рыгаловках» – разумеется, чем ещё могли похвастаться «Пищи», как не вкусной и здоровой пищей?

Ну и девчонки, разумеется. Потому как в МАИ учились преимущественно лица мужского пола, а в Пищевом – граждане пола противоположного, нет ничего удивительного в том, что студентов этих вузов тянуло друг к другу.

Я и сам однажды встречал Новый год в такой вот смешан-

ной компании. И вскоре после этих торжеств возникли две супружеских пары. Причём из-за одной девушки поссорились два соседа по комнате. Слава Богу, до конфликта не дошло. Андрюха Уткин отбил у Шуры Пархомчука умную пищевичку, а обиженный Шура с горя завёл себе кролика – но это уже другая история.

Так вот, однажды мы с однокурсниками имели возможность убедиться в том, что в Пищевом учатся не только девушки.

Случилось это всё опять же из-за баб.

Сидим мы однажды вечером, да даже ночью почти – у себя в комнате, чай пьём. Тихие такие первокурсники. На улице – ранняя тёплая осень, окна открыты, порхает свежий ветерок...

И вдруг со двора раздаётся хриплый отчаянный клич:
– Мужики, Пищи наших бьют!

(Вообще-то агитатор употребил другой глагол, матерный, и читатель легко его вычислит – а я не буду даже намекать).

И тут мы наглядно убедились, насколько чуткие люди живут в Маевских общагах. Не прошло и пяти минут, как двор наполнился возбуждёнными молодыми людьми с разных факультетов. Набралась толпа человек сто, а может, и двести. И все сочувственно разглядывали кричавшего. У него под глазом наливался лиловостью фингал приличных размеров. Кричавший и его друзья поведали нам, что провожали любимую девушку в Пищевой институт, но наткнулись на нежиз-

данное сопротивление девушкиных друзей мужского пола, видимо, также имевших виды на эту девушку. Оные друзья учились вместе с одной девушкой вместе – то есть в Пищевом институте и жили в одном с ней общежитии. В процессе разговора между спорящими сторонами возникло недопонимание, быстро перешедшее в рукоприкладство. Из-за того, что силы оказались явно неравны, маёвцы вынуждены были ретироваться, но пообещали вернуться.

В общем, когда наша толпа перевалила через Волоколамку и вышла на аллею, ведущую к Пищевому, там нас уже поджидала не менее многочисленная толпа. Судя по всему, на поединок вышло всё мужское население Пищевого института.

И маёвцы, и пишевики достойно подготовились и были неплохо вооружены подручными материалами – досками из разобранных скамеек, а также подвернувшимися под руку железяками.

Толпы замерли друг напротив друга, точно русские с монголами на Куликовом поле. И также, как на Куликовом поле, от каждой толпы выдвинулось по добру молодцу – типа Челубея и Пересвета.

Мы, ошарашенные первокурсники, коих было человек пять, стояли немного в сторонке и с надеждой наблюдали за ходом переговоров. О чём говорили переговорщики, слышно не было из-за нарастающего гула двух могучих орав.

Переговоры прекратились неожиданно. Уж не помню, с

чьей стороны – метнулся нетерпеливый юноша с деревянным дрыном и без предупреждения стукнул этим дрыном одного из переговорщиков по голове. Переговорщик тут же прекратил переговариваться и упал на асфальт.

И началось! Мы и оглянуться не успели, как две толпы накинудись друг на друга и с завидной целеустремлённостью и скоростью начали обихаживать друг друга своими увесистыми орудиями.

Продолжалась эта битва минуты две, после чего толпы так же молниеносно отхлынули, а на асфальте осталось лежать несколько человек.

Растащив раненых, стороны возобновили переговоры. Снова вышли по двое с каждой стороны, снова говорили-говорили, и опять кто-то, не выдержав, дёрнулся вперёд и хлопнул переговорщика по башке!

И драка возобновилась – с мельканьем рук и лиц, со звяканьем железяк и гулкими ударами деревяшек.

Тут, наконец, с завыванием подъехали милицейские узики, и все бойцы кинулись врассыпную. Раненые также расползлись. Серьёзных жертв, слава Богу, не было.

Вот какие жуткие вещи, однако, случаются из-за любви.

Большой секрет для маленького человека

МАИ был институт режимный, система прохода на территорию – пропускная, многоступенчатая.

Господи, сколько на моём пропуске стояло этих маленьких фиолетовых печатей! – и самолётик, и пропеллер какой-то, потом ещё буковка какая-то – жуть.

И были на территории МАИ такие спецпомещения, в которые, допустим, с одним самолётиком нельзя, а вот с самолётиком и пропеллером уже можно. А уж если и буковка у тебя стоит – значит, ты пятикурсник и пишешь диплом и чертишь чего-то на «закрытой» кафедре, а чертёж в общагу и вообще за территорию института – ни-ни! – всё сдаёшь в спецхран! И тетрадку с лекциями, с пронумерованными и прошитыми листами. А потом, когда снова понадобится, в обмен на пропуск берёшь.

А уже эти отделы режимные – по-моему, их было несколько: 1-й отдел, 3-й отдел и ещё какой-то, который вслух называть было нельзя.

Поучения престарелых работников этих отделов смешили нас своей абсурдностью. Так, собрали как-то наш первый курс на пятом этаже Главного Корпуса в большой аудитории. И первым делом старикашка-секретчик распорядился окна закрыть – мало ли, Карлсон какой залетит или ещё какой волшебник в голубом вертолёте. Посмеялись, но закрыли.

Но вообще лучше с «ними» было не ссориться. И уж ни в коем случае пропуск не терять. Я-то сам не терял, но слухи ходили такие, что сделать новый пропуск – это жуткий геморрой. Дядька, выдававший пропуска, битый час читал

нравоучительную лекцию страшным визгливым голосом. А потом приходилось бегать по всяким-разным деканатам, отделам этим самым режимным, бумажки разные собирать, печати ставить.

А вообще – ещё спасибо скажите. При Сталине могли б и расстрелять.

Однако режим имел и светлые стороны. В смысле, прикольные.

Было это в те незапамятные времена, когда на институтской проходной стояли наивные старушки в строгих беретах. И вот одной из этих старушек приходит анонимное сообщение: мол, будто бы сегодня вечером с территории института, с кафедры номер такой-то будут вывозить секретный ракетный двигатель. И указано примерное время провокационной акции.

Старушка заволновалась. Вышла к воротам и стала бдеть.

Бдеть ей пришлось недолго – в указанное время к воротам института с внутренней стороны подъехал старенький «Запорожец», за рулём которого сидел старенький вреденький профессор, доставший студентов своей упёртостью на зачётах и экзаменах.

Бабулька аж вся засияла: вот он, её звёздный час! Рысью подалась к автомобилю и говорит профессору:

– А ну-ка открывайте багажник!

Профессор не удивился – всё-таки институт закрытый, багажники проверять положено. Он вылез из машины и открыл

багажник, который, как известно (не всем) у «Запорожца» находится спереди.

Старенькая охранница не была знакома с технологическими особенностями конструкции «Запорожца». Она решила, что враг хитёр, но она себя перехитрить не даст. И грозно рыкнула профессору:

– Чего вы спереди-то открываете – вы сзади откройте!

Профессор резонно отвечает:

– Да у меня сзади мотор! В смысле двигатель!

Охранница от сияния перешла к блистанию: надо же, во-ришка сам раскалывается! Значит, прав был автор анонимки: секретный двигатель-таки решили скоммуниздить, а она, стреляная воробыха, сей зловерный процесс пресекала.

– Я знаю, что там двигатель! – говорит. – Открывайте!

Обескураженный профессор открыл – как и было велено – «задний багажник». Охранница узрела двигатель и торжествующе возопила:

– Ну и что это?

– Мотор... – растерянно отвечал профессор.

И был моментально арестован.

Довольно долго и тщетно он пытался объяснить технически отсталой женщине, что сей мотор в «заднем багажнике» – никакой не ракетный и не секретный, а родной движок «Запорожца». Бабулька только хмыкала в ответ: мол, рассказывай...

Потом, конечно, подошли коллеги-мужчины и отпустили

профессора с его автомобилем и очень долго потом смеялись.

А профессор так и не узнал, кто из обиженных им студентов так красиво ему отомстил.

Бригантина

Костромской школьник Дима Курилов, затюканный боевитыми сверстниками, мечтал о МАИ как о спасении, как о высоте, как о пьедестале, на который нужно запрыгнуть из унылого провинциального болота. Сделал всё, чтобы поступить – и поступил со второй попытки. Но постепенно, примерно к началу второго семестра, очарование пропало. Запахло тем же самым сусанинским болотом, только с примесью авиационного бензина, реактивного топлива и узко-клоповного сознания однокурсников.

Нет, дураками они не были. И, возможно, среди них бродили будущие Цандеры и Королёвы. Но Швондеров всё-таки было больше. В лучшем случае продвинутые маёвцы увлекались роком, но никак не литературой – а уж поэзией тут и не пахло.

В общем, мне стало грустно от технических дисциплин и тошно от плоского маёвского юморка. Я занялся поисками альтернативы. Сходил в маёвскую многотиражку с кричащим названием «Пропеллер». Умный товарищ по фамилии Дима Подобедов, уже наметивший себе журналистскую

карьеру, привёл меня в подвал на метро Улица 1905 года, недалеко от здания «МК».

И я поплыл.

На «Бригантине».

Сие литобъединение оригинальностью в названии, как видите, не отличалось. Вокруг бородатого капитана лет слегка за 40, Дмитрия Юрьича Цесельчука, в отличие от нас получавшего за еженощные бдения скромный оклад, сгруппировались мальчишки и девочки (больше девочки) примерно моего возраста (плюс-минус 5-6 лет).

Над бдениями витал дух чего-то важного и мистического.

Читали свои произведения, обсуждали – занудно, часами, витиевато.

Пили чай с баранками.

Знакомились с изысканиями доктора Берна и Кастанеды.

Писали экспромты на заданную тему.

Некоторым матросам окружающий экипаж давал бесхитростные прозвища. Были у нас Марина Рыжая, Марина Чёрная и Елена Прекрасная.

Специально для «бригантинских» опусов я купил себе печатную машинку «Любава». И вот, он, типичный пример опуса образца 1986 года, отсканирован и отредактирован.

Наивно, забавно и трогательно:

Д. Славин, 1986

Экспромт "Песня на черный день"

Зал пестр, многолик, полон шума и света. Ожидание порождает нетерпение, преходящее в ажиотаж, и вот уже масса народа конвульсивно и непроизвольно начинает выбивать ритм ладонями, вызывая свою жертву, свой оракул на ринг, на арену, на трибуну. Волнение растет, люди забывают, что они люди, забывают суету, заботы и тревоги повседневной жизни, охвачены жаждой увидеть его – своего бога, свою мечту, свою душу. Стены зала, кажется, начинают расплываться, шататься, подчиняясь всеобщему безумному порыву. Тысячи глаз вожделенно устремлены вперед, на сцену, к чуду. Сколько может это продолжаться? – мгновение, час, жизнь? Целую вечность? Ну, где же он, сколько можно ждать?

Вдруг – резко меркнет свет, на сцену устремляется луч прожектора, отчетливо высвечивающий его фигуру. Обычный молодой или кажущийся молодым мужик, держится просто, ни на что не претендуя, ничего не обещая. Безучастно висит гитара на плече. Он ждёт. Он поднимает руку – и рев толпы смолкает. Нервные пальцы перебирают струны, глаза смотрят вверх всех, куда-то ввысь и вдаль. Миг, всего один лишь миг, и происходит чудо – он человек и нечеловек, он с вами и в то же время сам с собой.

Глаза горят и устремлены в каждого, голос – миг назад обычный голос – приобретает нечеловеческую силу, адские интонации. Инструмента нет, он слился с телом, и всё вместе – голос, глаза, гитара – излучают жизнь, прямиком в ваши

души. И никуда не уйти, не спрятаться – вы поражены, вы заколдованы, вы связаны крепкой нитью с ним – с тем, кто стоит на сцене. И нет его боли, нет вашей боли, есть общая, для всех единая боль. Боль Жизни – болит, значит, живёте. Значит, все не зря, значит, есть Человек.

...Так же внезапно голос обрывается, зажигается свет, и вы столь же экстазно аплодируете, стоя, молча и не успев еще разобраться ни в себе, ни в песне, ни в том, что произошло. Перед вами снова молодой мужик, лет 35-40, не больше, глаза снова смотрят вдаль и ввысь, губы шепчут тихо слова благодарности. Он уходит.

Вы говорите «талант», рассказываете знакомым, все восторгаются, удивляются: «это чудо! это непостижимо! это невероятно!» А в сущности ничего и не было – того, что вы себе возомнили.

Просто человек спел свою песню.

В общем, милые такие элитарные штучки. Но для меня, замаянного МАИ и маёвцами, это, что ни говори, была отдушина.

И песни свои первые я принёс в «Бригантину». И приглянулся ими, песнями.

В общем, всё это было очень мило, ласково и невинно.

Ну а потом, на третьем курсе, началось...

То Багира у меня на коленях.

То Таня Горохова в ночной сорочке, на кухне Марин-

ки-Ленькиной квартиры, с голыми ногами. Тоже у меня на коленях, и я не знаю, что с этим делать.

То мы с Леной Комаровой просто гуляем по улочкам Москвы.

То Наташа через всю Москву летит ко мне, чтобы записку оставить на вахте общаги про конкурс песен.

И даже Марина наша основная вдруг фиктивный брак предлагает. Чтобы начинающий поэт Дима Курилов в Москве смог остаться.

Короче, это был если не малинник, то цветник уж точно. И я расцвёл – как там у Маркеса Пруста? – под сенью девушки в цвету? Вот именно. Примечание редактору: если вы исправили Маркеса на Марсея, верните Маркеса обратно – это специальная шутка. Для тех, кто не понял, в чём шутка – почитайте Пруста. Или хотя бы Маркеса.

В общем, мне было приятно в группе девушек нервных, в остром обществе дамском. Но я как-то по-тихому уходил от дальнейшего развития, углубления и усугубления.

Возможно, потому что не хотел разрушать тонкий круг своеобразных лит-отношений.

Возможно, потому что был влюблён в другую девочку и считал нечестным пользоваться ситуацией. А может, просто стеснялся – в силу своей юношеской девственности.

А потом «перестройка» закончилась, и я с «Бригантины» прыгнул.

Поступил в Литинститут, женился.

Остальные матросы и матроски нашего учебного кораблика также оказались на берегу, осваивая капиталистические реалии.

Дмитрий Юрьич неожиданно предложил всем называть его Димой, и все, кроме меня, на это клюнули, а Марина Чёрная так освоилась, что даже чуть не выскочила за него замуж, но потом быстро освоила иврит и уехала применять его на практике – в Израиль.

Марина Рыжая вышла замуж за Лёню Когана и перед самым путчем 1993-го уехала с ним в Германию, родила троих детей, разошлась, влюбилась в местного дантиста, он её бросил, она устроилась к нему садовницей, сын этого немца обвинил её, что она травила отца – короче, попала Маринка в немецкую тюрьму и получила незабываемый эмигрантский опыт.

Ещё с одной нашей подругой, Катей, случилась печальная история. Катя вышла замуж, родила ребёнка и пошла как-то с коляской погулять. Встретила подругу и разговорилась с ней. И, заболтавшись, отпустила коляску с ребёнком. А поскольку стояла она на пригорке, коляска потихоньку покати-лась под уклон, постепенно набирая скорость. Катя спохва-тилась, побежала за коляской, но было уже поздно: коляска выехала на проезжую часть и попала под машину.

Таня Горохова дважды разродилась поздними родами и теперь осваивает амплу молодой мамыши.

Лена Комарова вышла замуж за голландца и родила ему

кучу детей.

Багира преподаёт в школе.

Серёжа Генералов пописывает сериалы.

Я, наверно, чаще всех общаюсь с нашим капитаном. В нашем Союзе Литераторов – и на страницах его ежегодных альманахов.

Буфет

Вечерами, когда все заведения общепита были уже закрыты, в наших молодых организмах просыпался ужасный голод.

Аппетит был такой, что хотелось вгрызаться в собственный кулак.

И горе бедному студенту, легкомысленно не позаботившемуся о скромном нарезном батоне и куске колбасы или сыра. Можно было, конечно, поблуждать по соседям – иногда это срабатывало, но чаще ты натыкался на такое же голодное существо с такими же блестящими от отчаяния глазами.

И тогда я спускался в поисках последней надежды на первый этаж, пошатываясь, брёл мимо вахты в левый корпус нашей общаги и, заметив свет в самом конце длинного коридора, летел на этот свет, как мотылёк, как бабочка в поисках нектара.

И занимал очередь за другими голодными мотыльками.

Этот маленький неожиданный рай назывался буфетом. Работала в нём толстая крашенная тётенька лет глубоко за шестьдесят. И напрасно было искать расписание её работы – поскольку тётенька его не вывешивала. И работала, когда хотела. А когда не хотела – не работала.

Поэтому ужин в буфете – был делом случая. Счастливого случая.

Тётеньку звали странно, но мило – Милена. Она не была ни чешкой, ни болгаркой. Кто знает – может, она сама себе это имя дала. Например, у моей тёщи был друг Эрик, по паспорту Николай, сама же она по паспорту Клавдия, но предпочитает, чтобы её называли на немецкий манер – Клара.

Но вернёмся в наш буфет. Милена Леонидовна пришла за сей прилавок из артистической среды. Нет, актрисой она не была. Но нечто театральное в её манерах и разговорах присутствовало.

Ещё бы – как гласит легенда, в молодости Милена работала ассистентом режиссёра у самого Пырьева – практически на всех его фильмах.

Потом, в 60-е, она монтировала футбол в прямом эфире в городе Львове. Во всём СССР не было, наверно, жинки, которая бы давала футбол по ТВ. Случилось так, что постоянный дока-режиссёр футбольных трансляций заболел – и Милену отправили туда, как затычку. Она пыталась сопротивляться: мол, вы что там, обалдели? – я ж в футбол не то что не болею, я вообще его в глаза не видела. Не помогло.

Помогли операторы: не бойся, мы тебе, мол, подсказывать, будем. Милена: как подсказывать? Связи же тогда у режиссёра с операторами не было. А у Милены задача: сводить камеры в прямом эфире. Да, связь отсутствовала, а вот обратка (обратный канал) у каждого оператора уже была – то есть каждый оператор мог на своей камере, щёлкая специальной кнопкой, посмотреть, что идёт в прямом эфире. А у Милены в аппаратной картинка на мониторах со всех камер идёт.

И вот как они это дело монтировали: каждый оператор следил на своих камерах, что идёт в эфире и, исходя из своего опыта, сигнализировал Милене, когда его включать, простым шевелением своей камеры. Например, камера номер раз дёрнулась – Милена её в эфир даёт. Камера номер два дёрнулась: Милена вторую в эфир даёт.

Но вернёмся в наш буфет. Репертуар сего заведения разнообразием не отличался.

Сосиска с гречневой кашей или зелёным горошком. Жареные колбаски неопознанного типа. Яйцо под майонезом. Яйцо в виде яичницы. Пресная булочка за 4 копейки. И чай.

Но и из этого скромного меню можно было сооружать различные вариации. Можно было взять две сосиски, или четыре сосиски, плюс два яйца под майонезом. Плюс пять булочек. Съев всё это, ты ощущал долгожданную сытость.

Готовила Милена всё сама – варила яйца и сосиски, поливала их майонезом, кипятила воду для чая. Параллельно всё это медленно продавала – считала вручную, искала сда-

чу, иногда экспрессивно переругивалась со студентами.

Но не только ругань задерживала продвижение очереди. В буфетчицы Милена пошла, поскольку была давно на пенсии, и ей не хватало ни денег, ни общения. Она же очень общительная была.

И вот это её общение очень замедляло процесс выдачи еды. Из числа постоянных посетителей Милена выбирала любимчиков и рассказывала им байки из своей бурной театральной молодости. Баек, как и блюд, было немного – четыре, от силы пять. Но тётенька каждый раз рассказывала их по-новому. То есть заход был один и тот же, а вот концовка всегда разная. А поскольку говорила она в лицах, с пластикой и мимикой, очередь из пяти мотыльков во временном выражении могла растянуться и на полчаса. Ну, минут на 15 – это уж точно.

Перекусив сосиской и яйцами под майонезом и получив на десерт Миленину баечку (ну чем не мамина сказка на ночь?), можно было спокойно отправляться спать.

С чувством глубокого удовлетворения во всём теле.

В

Весна (кафе)

По воскресеньям маёвские столовки были закрыты, и голодные узники общаги группками растекались по району в

поисках хлеба и мяса. Ближайшее к нам питательное заведение находилось в конце маёвского участка Волоколамки, перед мостом через железную дорогу.

Носило оно романтическое имя «Весна».

Меню не то что бы соответствовало названию, но всё-таки было немного пошире, чем стандартный набор типовой маёвской столовой.

И мы выбирались туда, как, наверно, сытые западноевропейцы, выбираютя по вечерам в недорогой ресторанчик...

Весёлый Вейтин

Никакой он был не весёлый, а очень даже мрачный, важный и сосредоточенный – преподаватель по нашей специальности и заодно парторг факультета с этой непонятной фамилией. Вроде, фамилия еврейская, а на еврея непохож: физиономия круглая, сытая какая-то и куртка модная на нём, кожаная. И сам он, эдакий крупный мужичина. Ну не было в нём ни на шекель еврейской хлипкости или там робости. Нет, наш Вейтин был очень даже самоуверенный мужичина.

А на зачёте он просто зверствовал. Дотошный, точно следователь – требовал полнейшего соответствия наших ответов своим лекциям. Чтобы буква к буквке и циферка к циферке.

Так что зачёт этот долбанный мы сдавали ему по четыре раза. А я, кажется, раз пять. Или шесть.

Садист, короче, с красным партбилетом.

Но мы ему отомстили. Нет, морду бить не стали – она и так у него становилась красная от малейшего волнения.

Просто мы всей комнатой принялись склонять его странную фамилию, заменяя ею слово «ветер» в различных отечественных шлягерах самых разных времён. Получалось прикольно:

«А ну-ка песню нам пропой, весёлый Вейтин, весёлый Вейтин, весёлый Вейтин! Моря и горы ты обшарил все на свете...»

«Над окошком месяц. Под окошком Вейтин. Облетевший тополь серебрист и светел...»

«То не Вейтин ветку клонит...»

Или из Новеллы Матвеевой:

«Какой большой Вейтин напал на наш город!»

Или из Высоцкого:

«А Вейтин дул, с костей сдувая мясо

И радуя прохладою скелет!»

В тот вечер после зачёта мы долго не могли уснуть, озабочены поиском новых песен про Вейтина.

И когда кто-то из нас припоминал очередную строчку, ржали минут по пять...

Короче, оттянулись по полной. Досыта изъиздевались, говоря по-маяковски.

Правда, Вейтин об этом так и не узнал.

А жаль.

Хотя, может, оно и к лучшему. Обиделся бы и вообще бы оборзел.

А так... Зачёт мы ему сдали. И творчески имя его славили.

Вот это, наверно, и есть – чувство глубокого удовлетворения...

Весёлый праздник Новый год.

Первая моя сессия начиналась третьего января. И первым экзаменом у меня была История Партии. Коммунистической, разумеется – потому что партия была у нас тогда, в январе 1985-го, одна. Как чуть позднее заметил партийный теоретик Егор Лигачёв – так уж исторически сложилось. Не будем вдаваться в подробности, как коммунисты исторически складывали свою единственность и неповторимость. У меня же другая история. О том, как я решил не лишать себя весёлого праздника Нового Года и поехал учить историю на историческую родину – в город-герой Кострому.

(Какой-нибудь дока вспомнит, что Кострома вроде бы не входит в список городов-героев, но я ему отвечаю: никакой ошибки нет. Поскольку жизнь у нас повсюду явно героическая, у нас в России что ни город, то герой. А не согласен – эту книжку не читай. (Шутка)).

Все дружки мои к той зиме разбежались по огромной территории необъятного Советского Союза – кто в армию,

кто просто в военное училище. И только Лёшка Чубаров по кличке Клюв, он же Дохлый, затесался в пролетарские ряды ПТУ. В отличие от большинства институтов из ПТУ в армию не брали.

С Лёшкой мы подружились в шестом классе на почве всеобщей нелюбви одноклассников. Эта самая нелюбовь просто-таки бросила нас, двух маленьких изгоев, в некрепкие объятия друг друга. Мы сдружились, и жить стало легче: если до нашей дружбы нас лупили по отдельности, теперь нас стали лупить обоих, вместе, за компанию.

А вместе, что ни говори – всё-таки веселей.

Школа та каторжная была восьмилеткой, и по окончании сей мы с Лёшкой с облегчением её покинули. Лёшка почал в ПТУ, а я пробился в самый лучший класс района вместе с новыми друзьями из Клуба Лётчиков, Космонавтов и Десантников, о котором также разговор отдельный (см. на букву К).

Короче, сижу я дома, зубрю историю единственной и неповторимой партии, и тут приходит этот самый Лёшка, а с ним какой-то мужик по фамилии Потехин. Впоследствии оказалось – старший брат Лёхи Потехина, с которым мы в моём грустном детстве однажды крупно подрались. Теперь этот Лёха сел в тюрьму за то, что стучал прохожим по башке, сшибая с них хорошие шапки. А брат его старшой скорефанился с другим Лёхой – моим, Чубаровым (он же Клюв, он же Дохлый).

Короче, приходят эти новые дружбаны ко мне домой новогоднюю ночью и говорят нечто отнюдь не оригинальное:

– Здравствуй, Дима, Новый Год!

Примерно так они сказали. Я тоже их мельком поздравил и снова вернулся к партийной истории.

Но ребята дежурными фразами ограничиваться не собирались. А сделали мне приглашение.

– У нас, – говорят. – Есть пузырь.

– Пошли, – говорят. – Попляшем на городскую ёлку. У нас и музыка есть.

Потехин-старший-брат гордо продемонстрировал портативный кассетный магнитофон отечественного производства.

– Ребята! – отвечаю. – Я уже отметил. И потом, у меня же история партии!

– Плюнь! – говорит старший Потехин. – Мы её тоже в нашем ПТУ сдавали. По дороге расскажем всё тебе.

– И вообще, Димыч, у нас же пузырь! – аргументированно агитирует Лёшка. – Ты что, хочешь, чтоб мы его вдвоём уничтожали? Не увиливай. Не нарушай традицию.

Я не стал спрашивать, в чём эта самая традиция – не в плясках же троих молодых мужиков под ёлкой? Весёлые ребята сами мне объяснили, что скучать не придётся – под ёлкой этой полно всяких баб.

Находилась эта городская ёлка на той стороне великой русской реки Волги. Автобусы с троллейбусами в новогод-

нюю ночь не ходили. Равно как и такси. Все водители сидели дома и мирно пили, тупо глядя в телевизор на Лещенку с Кобзоном.

– А Волга уже застыла? – почему-то спросил я.

– Застыла! Метра на полтора промёрзла! – уверенно заявил Дохлый Ключ.

Это был серьёзный аргумент.

И мы пошли пешком через Волгу по этому толстому льду.

Праздник под городской ёлкой был довольно убогий. Вокруг скучало десятка полтора человек разного возраста и пола, то и дело поглядывая на высокую ёлку. Ёлка сияла, огоньки по гирляндам туда-сюда бегали, но музыки почему-то не было. Пока не пришли мы с портативным кассетным магнитофоном. Потехин-старший-брат включил его на полную мощность, и вокруг нас тут же образовался тесный круг почитателей.

Типа, все ждали веселья, и вот оно – пришло.

Особенно веселилась одна подвыпившая молодая бабёнка. Она толкалась, прыгала и то и дело спрашивала, почему я такой грустный.

Я растерянно пожимал плечами.

Мы поплясали песни три под Розенбаума, и веселье стало как-то иссякать. Девушка всё прыгала, только теперь спрашивала не только у меня, а и у Дохлого с Потехиным-старшим-братом, почему мы все такие грустные, а ещё с магнитофоном.

Судя по всему, дружанов моих девушка тоже-таки достала, потому что Потехин выключил магнитофон, отвёл нас с Лёшкой в сторонку и заговорщицки изрёк:

– Надо выпить.

– Эй, магнитофон-то оставьте! – кричала нам вслед молодая бабёнка, всё ещё приплясывая на ходу.

Но мы уже сосредоточились на основном и молча шли к ближайшему подъезду.

Домофонов тогда ещё не придумали. Во всяком случае, в Костроме их точно не было. Ни одного. Поэтому мы без проблем пробрались в парадный подъезд одного из центральных зданий города.

В подъезде было тепло. И никого, кроме нас, не было. Жилыцы тихо праздновали по квартирам. Кто-то уже храпел.

Лёшка сорвал пломбу с бутылки и бодренько хихикнул:

– Ну, поехали!

– Погодите. А закуска-то у вас какая-нибудь есть? – поинтересовался я.

– Да какая закуска? – нетерпеливо заёрзал Дохлый Клюв. И, порывшись в мозгу, извлёк, очевидно, единственную, слегка заплесневелую остроту:

– Гусары не закусывают!

Я изучающе осмотрел знакомые рожи под кроликовыми шапками. На Чубарове была лохматая шуба из искусственного меха. На Потехине стариковское пальто с каракулевым воротником. На гусар эти двое были явно не похожи.

А Лёшка, глотнув водки, уже протягивал поллитру мне.

– Ну не знаю... – замялся я. – Хотя бы конфету какую...

– Да зачем конфеты? – важно заявил Потехин. – Чё мы – дети, что ли?

Чубаров в унисон ему с укором посмотрел на меня.

Я пристыженно опустил глаза. И мы обошлись без конфет.

И без стаканов.

Пили по-демократически: из горла. Жадными большими глотками, эффектно булькая.

Водка, не сопровождаемая никакими закусными предрассудками, незамутнённой чистой струёй струилась сквозь наши организмы в желудок и так далее.

Но к концу пиршества стала упрямо застревать.

Я ограничился парой благородных отрыжек и отказался от дальнейшего участия.

Дохлый, было, заскулил:

– Димыч, так нельзя...

Но, посмотрев на меня, вынужден был в свою очередь отвести глаза и решил боле не настаивать.

– Ничего! – радостно провозгласил Потехин-старший. –

Нам больше достанется!

И снова присосался к пузырю.

И хотя энтузиазма на бодрое распитие уже не хватало, и темпы заметно замедлились, они вдвоём с грехом пополам опорожнили-таки поллитру.

Но водка оказалась на редкость подвижным напитком.

Она никак не хотела успокаиваться. И после нескольких позывов потекла из организмов Дохлого и Потехина-Старшего-Брата в окружающее пространство, захватывая по пути комки недопереваренной пищи и остатки праздника.

Я кисло съёжился в углу, стараясь не смотреть на этот обратный процесс. А дружбаны мои стояли, слегка перегнувшись через перила и в унисон изрыгали из себя дурно пахнущую смесь на койкообразную решётку, примыкающую к шахте лифта.

Почему-то стало совсем уж грустно и сильно потянуло домой, к учебнику по Истории Партии.

– Ну, вот и повеселились... – сказал Дохлый Клюв, вытирая рукавом следы блевотины с краснорожего лица.

– Ну, чё? Пойдём ещё попляшем? – улыбнулся Потехин-старший-брат после аналогичной процедуры. И включил магнитофон.

– Без меня! – по-пьяному решительно отреагировал я. Развернулся и ушёл, оставив дружбанов в недоумении.

Волга подо мной, слава Богу, была твёрдой. Только слегка покачивалась.

Верхнее ЛЯ Максима Сенчихина

Жили-были в одной из комнат на первом этаже общаги шестого факультета два гитариста – Дэн и Макс, отличник и каратист Вадим Палимпсестов и просто хороший парень

Олег Головки по кличке Хэнк.

Дэн сочинял песни, наигрывал продвинутую музыку, а Макс, как гласит легенда и мнение однокашников, играл как кот, завлекающий кошечек.

Без дураков, красиво играл.

Однажды, когда Вадик с Дэном циклевали пол, Макс тоже решил поучаствовать в хорошем деле – взял гитару и устроил им музыкальное сопровождение: сорок минут наигрывал на тему «Подмосковных вечеров».

А в другой раз, когда Вадик с Олегом позвали в гости де-вушек, Макс скромно удалился с подругой-гитарой в коридор.

– Пойду, – говорит. – Поиграю.

Но далеко ему уйти не удалось – кто-то его в коридоре окликнул. Он остановился и завёл продолжительную беседу.

А в комнате меж тем свирепствовал сквозняк, циркулируя от открытого окна к плохо закрытой двери.

Дверь с характерным скрипом елозила туда-сюда и в нерешительном своём движении всё никак не могла закрыться.

Это очень всем присутствующим не нравилось. А Вадика так просто раздражало. И он решил эти подлые дверные инсинуации немедленно пресечь. А поскольку был каратистом, пресечь он их решил характерным ударом ноги (как гласит легенда, удар этот называется «маваши»).

И с криком «да достал меня этот сквозняк» налетел на дверь и с чувством исполнил своё каратистское намерение.

Дверь захлопнулась, но тут же с той стороны двери раздался душераздирающий, нечеловеческий вопль на очень высокой ноте.

Верхнее «ля» четвёртой октавы, никак не ниже.

Оказывается, Макс, который далеко не ушёл, беседовал с товарищем, не отходя от двери. И при этом задумчиво водил пальцами по дверному косяку. И когда Вадик свершил свой каратистский обряд, дверь со всего размаха защемила Максиму четыре его музыкальных пальца – бац!

Вот он и завершал.

Когда Вадик, осторожно интересуясь, выглянул в коридор, Максим подпрыгивал крупным планом, гитара валялась у его ног, а коридорный собеседник Максима с укором посмотрел на Вадима и не без иронии заметил:

– Что ж вы, ..., делаете! Музыканта убили...

– Ну, извини... – посочувствовал Вадик. И для пущего сочувствия искренне добавил: – До свадьбы заживёт...

И зажило. Причём гораздо раньше.

И снова Максим радовал общажных кошечек своей соблазнительной игрою.

Видеосалоны

«Ах, этот видеоманитофон – это видеорай, это видеосон!» – пел наш кумир Макаревич в середине восьмидесятых, очевидно, одним из первых в стране купивший эту до-

рогую игрушку.

Мы же поначалу могли только песни про «видик» слушать. Нет, можно было пойти в комиссионку посмотреть и на сам чудесный аппарат, но купить... даже не мечтай – цена заградельная.

Но вот грянула перестройка. Запахло демократией. Потянуло гласностью. И как первые её грибы то тут, то сям стали появляться видеомагнитофоны.

А поскольку игрушка всё-таки продолжала оставаться дорогой и эксклюзивной, обладатель спешил окупить её, организуя просмотр видеофильмов для всех желающих.

От желающих отбоя не было, и повсюду возникли видеосалоны.

В нашем студгородке они появились практически в каждой общаге – как правило, в Красных Уголках. Работали они, как тогда говорилось, на кооперативных началах. То есть были коммерцией в чистом виде. Некоторые ушлые студенты подсустились и неплохо на этом деле подзаработали.

В уютные маленькие зальчики хлынуло в виде видеокассет всё то, что прежде было недоступно: боевики, ужастики и лёгкая эротика.

У видеофильмов появились восторженные поклонники, готовые часами пересказывать содержание увиденного.

Так, помню, на базе отдыха в Крыму Вовчик Салагин пересказывал нам «Кинг-Конга» – первого ещё, старенького. Рассказывал в лицах, ухая, охая и ахая, делая многозначи-

тельные паузы.

Ну, сходил я на этого «Кинг-Конга». Жалкое подобие Вивкиного рассказа.

Самым проникновенным фанатом видеофильмов был у нас на базе Лёнчик Островский.

Разумеется, его захватывали ужастики – всякие «Нечто», «Чужой», «Кстро» (или «Экстра»). Ох, и умел же Лёнчик напугать – не хуже самого фильма. До сих пор помню его рассказы про то, как монстр забирается внутрь человека и потом, разодрав ему изнутри живот, выдвигает вперёд мощные челюсти и кусает другого человека. Или как мерзкий инопланетянин влезает в женщину через рот и буквально через минуту вылезает через влагалище уже в образе человека.

Жёсткую порнуху смотрели по комнатам. То есть владелец видеомагнитофона приносил его к вам на дом, оставался с набором кассет на ночь и требовал с вас же деньги – за просмотр.

Не желаешь смотреть – иди спи к соседям.

Чаще порнушки были только ужастики.

Один товарищ с видеком повадился устраивать сеансы в комнате Игоря Шуляка. Игорю вообще с его ночным досугом не везло. Как ни придёт, койка его занята: то мужик спит, то девчонки, то видеосеанс. Долго он ночевал по соседям. Наконец, плюнул, заплатил за три ужастика.

Сидит, смотрит.

Рядом четверо товарищей сидят, вперившись в экран.

А на экране напряжение сгущается – главный герой идёт по лесу, а за ним субъективная камера следит. То есть понятно, что это чудище на него охотится. И вот-вот набросится.

Напряжение расплзлось по комнате, и сладкий страх обуял всех видеозрителей.

Все замерли в ожидании жуткой развязки.

И вдруг Шуляк как заорёт! Все как вздрогнут – и снова на экран.

А на экране ничего ещё не происходит – мужик идёт себе по лесу, ни на кого не нападает. То есть эмоциональный Шуляк фальстарт выдал.

Ну, поскольку на экране всё в порядке, все облегчённо вздохнули, и в этот момент самое страшное и случилось.

Но, разумеется, никто уже не заорал и даже не вздрогнул, а наоборот, рассмеялись. Поскольку только что получили как бы прививку от ужаса – спасибо Шуляку.

Виндсёрфинг, мать его!

Осень 88-го. Кооперативы цветут и пахнут, а я решил заделаться профессиональным журналистом. Две этих темы слил в одну Дима Подобедов, пробравшийся в штат гремящего по стране еженедельника «Собеседник». Он выхлопотал для меня персональное задание – написать очерк о первом в Москве кооперативе по виндсёрфингу.

Кооператив расположился на территории водного стадио-

на (недалеко от станции метро с соответствующим названием), на берегу Химкинского водохранилища.

Хозяин кооператива встретил меня очень радушно – естественно, ему нужна была реклама, а рынок рекламы в ту пору ещё не сформировался, и такие вот статьи в различных популярных изданиях (тиражом за миллион) были для начинающего предпринимателя чуть ли не единственной возможностью заявить о себе.

Разумеется, первым делом, я, как взаправдашний профи, хотел познать суть вопроса – то есть почувствовать на собственной шкуре, что ж это за вещь такая диковинная с иностранным названием – виндсёрфинг.

Нет, по телику я видел, как загорелые гибкие мужики красиво кувыркаются на океанских волнах побережья Штатов и Австралии, умело управляя примитивным судёнышком – доской с торчащим из неё парусом.

В отличие от океана на Химкинском водохранилище был полный штиль. Но ведь и я в отличие от загорелых виндсёрфингистов в этом деле был полный лох.

Меня подвезли к доске с парусом на лодке, сняли загорелого гибкого парня с доски, а меня, в одних плавках, оставили наедине с этим плавсредством.

Стояла осень, конец сентября. Температура воздуха – градусов 18. Температура воды – намного ниже, в чём я сразу же убедился, попытавшись поставить парус по ветру.

Парус меня почему-то не послушался, завалился, я упал

в воду, а парус накрыл меня сверху. Схлопотал, в общем, виндом по сёрфингу.

Я повторил попытку. С тем же результатом.

Я снова забрался на доску и попытался поднять из воды мокрый парус. Парус продержался в стоячем положении несколько секунд и завалился снова.

Короче, это нехитрое упражнение я проделал раз тридцать.

Я посинел и покрылся крупными пупырышками.

Я хлюпал носом. Я стучал зубами. Кусал трясущиеся губы.

Я проклял этот кооператив и весь этот виндсёрфинг, а заодно «Собеседник» вместе с Димой Подобедовым.

Отчаявшись и замаявшись поднимать нестоячий парус, я попытался просто лечь на доску и грести к берегу, но парус, плашмя бултыхающийся на воде, ужасно тормозил и мешал движению.

Я стал махать руками и кричать, чтоб меня забрали, стоящим на берегу. Но ветер уносил мои стоны и проклятия – в ответ с берега мне улыбались и дружелюбно помахивали руками.

Наконец, минут через 45 моего постыдного плавания, ко мне подгребла лодка и улыбающийся загорелый паренёк спросил: «Ну, мол, как оно?»

Разумеется, я ответил «Здóрово!»

Отправляясь на это задание, я допустил досадный про-

мах – по легкомысленности не захватил с собой полотенце и сменную одежду. Душевые у кооперативщиков ещё не были построены. Я попрыгал по берегу, напялил джинсы и майку и отправился интервьюировать основного кооператора.

Кооператор решил шикануть и повёз меня ужинать в аэропорт «Шереметьево» – почему, до сих пор для меня остаётся загадкой. Ну, кафе и столовые вечером в советской Москве были уже закрыты, это ясно. Но что – на Ленинградском шоссе приличного ресторана поближе не нашлось?

Видимо, не нашлось. Или кооператор решил сэкономить.

Мы довольно долго ехали к аэропорту, потом долго кушали и беседовали, потом они довезли меня до родного МАИ, а до общаги я уж добирался пешком.

Утром у меня заболело горло, тонзиллит постепенно перешёл в фарингит, фарингит в ларингит, ларингит в бронхит, бронхит выразился громким подавляемым кашлем, плюс лёгкие начали посипывать да похрипывать – и через пару дней мой щуплый организм стал подавать явные признаки бронхиальной астмы.

Лечение заняло месяца два с половиной. Я глотал микстуры, таблетки, ходил на процедуры в поликлинику – ничего не помогало. Напросился поболеть к однокласснице Маринке, она меня уложила на полу и очень переживала, что я её скомпрометирую перед её тогдашним женихом.

В конце концов, я уехал болеть в Кострому.

Как вылечился – уж и не помню. Видимо, с зимой пришёл

более сухой воздух, и бронхи мои поуспокоились.

А статья моя в «Собеседнике» так и не вышла – Подобедов объяснил мне, что редактора не устраивает мой стиль – слишком уж он, типа, кондовый. Не знаю – я старался, как мог. Живописуя. То есть врал, конечно.

Обидно, однако. Бултыхался, жизнью рисковал.

И кооператор в накладе остался. А, может, и не остался. Может, ему подослали потом более опытного журналиста. Который не бултыхался, а молча стоял на берегу.

А потом сел и написал красивую статью про гибкое чудо виндсёрфинга.

Ну и семь ему футов под килем.

Волоколамское шоссе

А это просто одна из песен, сочинённая на первом курсе МАИ. Далеко в народ она так и не ушла, но Жене Меренкову, вечному студенту из соседней комнаты, а по совместительству предводителю нашей тёплой компании КСП шестого факультета, очень нравилась. По-моему, это единственная песня, которую он выделил из всего моего творчества и запел своим вдохновенно-гнусавым голосом.

Судите сами: бред, конечно, но вместе с тем какая-то милая непосредственность. Кстати, Покровкой я тут, как приезжий не-москвич, называл не Покровский бульвар, а парк Покровское-Стрешнево.

Волоколамское шоссе...
Маёвца улица родная...
И как по взлётной полосе,
Гоняю сессией замаян...
Туда-сюда вдоль по шоссе...

Сидит в трамвае номер шесть
Такая странная девчушка -
И верим мы в чужую лесть,
Почти не глядя друг на дружку...
Сидим в трамвае номер шесть...

А за окном идут дожди
От Лужников и до Покровки...
Ты подожди... не выходи
До следующей остановки...
Ой, погоди, не выходи!

А где-то там в моём МАИ
Гудит бетонка сачкодрома...
Аудитории твои -
Мне как очаг родного дома...
Там, где-то там, в моём МАИ...

Как самолёт, летит трамвай,

Вдоль по взъерошенным проспектам,
И освещая вечный май,
Торчит кирпич Гидропроекта...
А вдоль шоссе летит трамвай...

Волоколамское шоссе...
Широкий ряд домов высотных...
А я бегу... спешу, как все...
От воскресенья до субботы... -
Волоколамское шоссе...
Волоколамское шоссе...

Воспиталка

Звали её банальнее некуда: Марья Ивановна.

Большую часть жизни она проработала надзирателем в женской тюрьме. А по выходе на пенсию устроилась воспитателем в общагу рабочего общежития СМУ № 626 тёплого города Алушты.

Где мы с ней и столкнулись.

Мы – это сосланные строить базу МАИ студенты, завалившие зимнюю сессию.

Но здесь, в Крыму, нас сразу невзлюбили отнюдь не за это. А за то, что мы – москвичи.

Мало того, что невзлюбили, так ещё и приставили воспитателя – как к несовершеннолетним.

В общагах МАИ никаких воспитателей не было.

А тут – на тебе. Конечно, мы восприняли явление Марьи Ивановны как некий канцелярский казус. Как нечто сюрреалистическое и гипертрофированное.

Гипертрофия её начиналась с фигуры: толстые ноги, толстая голова, грязные волосы, склочный голосище – совсем не как у Фаины Раневской – а так, ну вылитая фрёкен Бок из советского мультика про Карлсона.

В Красном уголке, где должны были собираться время от времени общежитейцы – например, у голубого экрана или за шахматной доской – Марья Ивановна устроила себе рабочий кабинет.

И даже написала часы приёма – по полтора часа два раза в неделю.

В остальное время она единолично отдыхала – смотрела в телевизор. Возможно, играла сама с собой в шахматы. Разговаривала с бюстом Ленина, скучавшим в углу.

Иногда вспоминала о работе и, взяв у комендантши ключ, неожиданно врывалась в наши комнатухи.

Жара стояла невероятная – лето, Крым. Лежишь, бывало, голый под одной простынёй, млеешь после работы.

Тут вдруг дверь распахивается и – здрасьте! – Марья Ивановна!

И сразу – шась в тумбочку, где припрятаны трусы с носками.

Видимо, у неё на это дело нюх.

А к шмону-таки просто призвание. Одна незадача – карцера на нас нет.

Но поорать да пострадать можно. И потыкать носками и трусами – мол, что это?

И я встаю, гордо завернувшись в простыню древнеримским патрицием, и метафора на уста так и просится. И возмущённо вещаю Марье Ивановне, как попсовая звезда – жёлтопрессному журналисту:

– Да как вам не стыдно копаться в моём грязном белье!

И на пару секунд ей становится стыдно.

А потом она почему-то обижается – с крупными слезами в тоскливых глазах.

– Эх, вы... – говорит она, отбрасывая носки с трусами. – А ещё москвичи... А ещё студенты...

И одаривает таким страдальческим взглядом, что становится очень не по себе.

Вся её жизнь, всё её грустное существование в этом взгляде: двадцать лет в тюрьме, чужое грязное бельё и полное, беспросветное одиночество.

Безнадёжно глядя перед собой и не глядя на меня, Марья Ивановна уходит, унося своё одиночество в Красный свой уголок, где она плюхается в кресло и смотрит телевизор – до утра, пока не уснёт...

Голь на выдумки хитра

У Ленки Фокиной тётка работала в конюшне зоопарка. Ленка иногда водила туда знакомых – покататься на лошадях. А когда заболел жеребёнок, даже повела ребят в ночное.

Нужно было постоянно дежурить у «постели» больного. Днём это делали служащие зоопарка. А ночные дежурства организовала Ленка.

Чтобы было нескучно, ребята ходили туда целой компанией.

Кто-то один сидел возле жеребёнка, остальные развлекали себя как могли.

Самым интересным развлечением было «доение» автомата с газированной водой.

Автомат стоял в самом центре новой территории. За три копейки он наливал стакан газировки с сиропом, за копейку – газировку без сиропа.

Обычный, в общем, автомат.

Только клиенты ему попались необычные.

Хитрые. Деньги тратить ну совсем не хотели.

И придумали несколько способов бесплатной добычи газировки.

Способ первый. Брели длинную тонкую проволоку, и самый её конец скручивали в окружность в форме трёхкопеечной монеты.

Затем осторожно засовывали эту проволоку в щёлку для

монет.

Проволочка была мягкая, уходила глубоко, нажимала на нужный контактик и...

...из автомата лилась газировка с сиропом.

Стакан выливали в приготовленную трёхлитровую банку, ставили на место, проволочку чуть-чуть приподнимали и снова осторожно совали внутрь.

Недостаток данного способа: обратно проволока шла тяжеловато. Поэтому вскоре был придуман...

Способ второй. С трехкопеечной монеткой.

Берёшь монетку, просверливаешь в ней маленькую дырочку; в эту дырочку вставляешь тоненькую, но крепкую леску, привязываешь её к монетке. И потом съёшь монетку в щёлку автомата.

Монетка падает куда надо, нажимает на нужный контакт – автомат выдаёт полный стакан газировки с сиропом.

Стакан выливаем в банку, ставим в автомат. Монетку тянем за леску и через несколько секунд снова опускаем.

И автомат снова дарит стакан газировки с сиропом.

Единственное неудобство – до конца вытащить монетку нельзя. Тут уж сколько достанет терпения – таскать монетку туда-сюда.

Обычно терпения хватало на полбанки – то есть на полтора литра = 6 стаканов.

А потом жеребёнок выздоровел, ночные походы прекратились, и автомат, соответственно, оставили в покое.

Горячее сырым не бывает

Группа Костика Злобина решила, чтобы сдружиться, сходить на лыжах в лес. Шашлыков пожарить, выпить вместе пива. 23-е февраля как раз выдалось очень тёплое, так что природа располагала.

С утра Костик с Димитрием Ильницким взяли 50-литровую бадью из-под молока (где достали, история умалчивает) и пошли за пивом.

Приходят в магазин, а там очередь. И пиво в бутылках продают. Костик с Димитрием купили два ящика и, не отходя от кассы, устроили аукцион: бутылки хоп! – открывают, пиво – во флягу выливают, пустые бутылки сдают и тут же на вырученные деньги пиво покупают. Круто, да?

Народ стоит, усмехается.

Впрочем, продавщица маёвскую смекалку оценила негативно. Ухмыляется этак криво и заявляет:

– Эх, не хотела б я иметь таких зятьков!

А у самой внешность пропитая, красная, сразу видно, не первый год в запое. Ну, Костик с Димычем и отвечают:

– А мы бы тоже – не хотели такую тещу иметь!

Толпа угорает, продавщица мрачнеет, а Костик с Димычем, наполнив флягу, тащат её в лес.

Помимо пива, была добыта огромная кастрюля сырого шашлыка.

А вот с костром возникли проблемы. Хотя денёк и выдался тёпленький, но всё-таки не лето – зима. И снег, и хворост сыроват.

В общем, пока разводили костёр, успели, как следует, проголодаться. Да и замёрзнуть.

Накатили пива из фляги – аппетит ещё сильнее разыгрался. И пиво, однако, не водка – пивом не согреешься. Для сугреву надо было хотя бы мяса навернуть.

Жарили-жарили шашлыки... Не выдержали: похватали – и в рот.

Мясо было непрожаренным и кровавым, жевать его было трудно. Но кушать хотелось очень, поэтому молчали и вгрызались.

А кто-то, прожевавшись, выдал фразу с претензией на крылатость:

– Горячее сырым не бывает!

Горящая такса

Первокурсник и общежитеец Олег Головки устал жить на проходной.

Разумеется, проходную в данном случае надо бы поставить в кавычки. Потому что на настоящей проходной общежития по адресу Дубосековская, 9 дневали-ночевали старушки-вахтёрши, попеременно: Блокада и Бабушка Божий Одуванчик.

Вообще-то они только дневали. А ночевать уходили в свою каморку под номером 109 на 1 этаже. И дверь в общежитие при этом запирали.

Случалось это обыкновенно в час ночи.

Вот с этого-то момента комната Олега и превращалась в проходную – как бы контрабандную, подпольную. Почему именно его комната?

Ну, во-первых, потому что окно её выходило прямо на проходную института и было расположено довольно близко к самому оживлённому углу студгородка – весьма удобно для припозднившихся общежитейцев.

А во-вторых – так уж исторически сложилось, что Олег и его соседи привыкли поздно ложиться спать. Свет, естественно, не гасили. И вот, на этот свет, пылающий в ночи, как мотыльки и бабочки, слетались все, кто не успел запорхнуть через официальную проходную.

Поначалу они просительно стучались в окно, но, поскольку окно это прославилось на всю общагу, Олег просто перестал его закрывать.

Опоздавшие влезали в это самое окно, шли через всю комнату к двери, через неё в коридор, и дальше – разбежались по своим каморкам.

Ситуация усугублялась тем, что койка Олега располагалась как раз под этим самым окном (единственным в комнате).

И все гости с подоконника обязательно наступали на его

кровать, заботливо прикрытую покрывалом и газетой.

В общем, в конце концов, Олег от этих ночных налётов не просто устал – они его, мягко говоря, достали. А внутренний голос его перешёл на исключительно русский матерный язык.

И решил Олег из этой комнаты съехать.

Случилось это в середине первого курса, аккурат перед новым годом, когда человекопоток через кровать Олега необычайно усилился.

Однако, одно дело – решить, а другое – дело исполнить своё решение. Было это непросто. Не знаю, как у вас, а в нашем общежитии шестого факультета существовала негласная традиция: на первом этаже должны жить исключительно первокурсники.

Но Олег находился в состоянии, прямо скажем, взвинченном и чувствовал, что грядущую сессию обязательно завалит, если эту жилищную проблему не урегулирует.

Набравшись храбрости, он отправился к комендантше – невысокой и шарообразной женщине неопределённого возраста с испитым лицом отъявленной алкоголички.

Заходит и с порога говорит:

– Переехать бы мне. А то я чего-то заколебался на такой проходной находиться. Помогите, чем можете.

Комендантша испытующе посмотрела на Олега заплывшими поросычьими глазками.

Олег взгляд этот выдержал.

Комендантша насупилась, велела дверь ему прикрыть и, прокашлявшись, деловито изрекла:

– Значит, такса такая: коньяк три звезды – будешь ты, товарищ, жить на первом этаже. Только в другом крыле (удалённом от оживлённого «пяточка»). Ну а если пять звёздочек – этажность, соответственно, поднимается. Усёк?

– Ещё как усёк! – обрадовался Олег; тут же сбежал в магазин и вручил комендантше целых две бутылки пятизвёздочного коньяка.

– А ты понятливый, – заулыбалась комендантша. – Ну что же... выбирай этаж!

Вот такой вот широкий комендантский жест себе позволила.

И Олег не преминул воспользоваться.

Грузинчик

Случилось это во время моей учёбы в ТУ-89 – с первого захода мне в институт поступить не удалось, и, осваивая математику с физикой по вечерам, днём я притворялся, что учусь на фрезеровщика.

Таких, как я, «непоступантов» из МАИ, в этом подмосковном училище нас было человек 30. Все мы надеялись получить красный диплом, все очень сдружились на картошке и поначалу ездили из Болшева в Москву большой компанией, благо электрички ходили туда-сюда каждые 20 минут.

И вот стоим мы как-то на Болшевском перроне, ждём электричку, хохочем над очередным анекдотом, и вдруг ко мне откуда-то сбоку подходит дама лет под 40 романтично-потасканного вида.

Подходит и говорит:

– Грузинчик, пойдём палочку кинем?

Я сперва не понял, с кем дама разговаривает.

Во-первых, какой из меня грузинчик? Я же рыжий, голубоглазый. Ну, разве что нос немного искривлён в процессе детских драк.

Хотя, конечно, существует такая легенда, что настоящие грузины, в смысле грузинская аристократия, такими и были – рыжими и голубоглазыми.

Впрочем, такая же легенда существует и про настоящих персов, и про настоящих евреев, а также гуннов, арийцев и негров.

Так что, с некоторой натяжкой за грузинчика меня можно было принять.

Но оставалось во-вторых: пресловутая «палочка».

Мне было 17 лет, я был довольно наивен, а в вопросах секса совершенно непросвещён. И как-то так случилось, что в этом нежном возрасте подобного выражения про палочку просто не слышал.

А дамочка улыбается и куда-то за угол показывает, в кусты.

А ребята смотрят на меня и ржут.

А я стою и не понимаю, почему они ржут.

Уж и тётка, пожав плечами, ушла. И электричка приехала.

И мы в электричку завалились.

А они всё ржут.

С тех пор ко мне эта кличка и прицепилась: «грузинчик».

И держалась до самого лета, пока я в МАИ не поступил.

Груша

Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина или, коротко говоря, Грушинский фестиваль, в просторечье Груша – предел мечтаний начинающего барда.

Хотя и с мечтаниями и с сокращениями не всё так просто.

Валерий Грушин, студент из Куйбышева, героически утонул, спасая ребёнка. Памяти Валерия его друзья, туристы и гитаристы, стали ежегодно проводить туристический слёт, постепенно разраставшийся в размерах и, наконец, превратившийся в коммерческое предприятие, недавно лопнувшее пополам, что внесло известную дезориентацию в редущие ряды поклонников авторской песни.

В общем, в любом случае, называть «Грушей» мероприятие памяти Валерия Грушина, мягко говоря, некорректно; да чего там! – просто кощунственно. Но тем не менее это сокращение плотно вошло в обиход и его никакой нагорной проповедью уже не выкорчуеть.

Я ездил на Грушу два раза, с огромным промежутком – в

1986-м году и в 2000-м. Оба раза вполне весело, но не вполне удачно.

В 86-м слёт разрешили – кажется, после пятилетнего запрета – и наше альтернативное КСП МАИ-2 во главе с бессменным Президентом и вечным студентом Женей Меренковым погрузилось в плацкарты поезда «Москва-Куйбышев» и тронулось – на юго-восток, к фестивалю.

По пути между мной и Женькой произошёл несчастный случай, настороживший Женьку и, видимо, отвернувший его от меня на всю оставшуюся жизнь.

Мы оказались на верхних полках через стенку. И Женька, когда ему хотелось мне что-то сказать, не слезая, высовывал из-за стенки свою голову. И говорил.

Дорога была длинная – почти сутки. Петь песни всю дорогу – утомительно. И Женька своими вопросами, и своей вертлявой головой, то и дело появлявшейся из-за угла, стал явно злоупотреблять.

А меня стал мучить соблазн – вытянуть ногу и пихнуть легонько эту занудную президентскую голову.

Голова Женьки продолжала свои миграции.

Соблазн мой усиливался...

...усиливался...

...и, наконец, воплотился. Уж не знаю, чем я думал, но я-таки сделал это. Пихнул легонечко Женькину голову ногой.

Женька, естественно, обиделся. Вся радость его сразу улетучилась куда-то за угол. А обиженная голова сказала: «во-

обще-то за такие вещи морду бьют!»

Мне стало очень стыдно. Ну и страшновато немного. Я уже давно не дрался.

Я стал глупо извиняться – мол, чёрт дёрнул, не знаю, что на меня нашло, но всё-таки согласись, Жень, соблазнительно же вот так вот – когда голова из-за угла – пихнуть легонько...

Женька (26 лет) внимать моим оправданиям не стал. Голова его исчезла за перегородкой и больше до самого Куйбышева не появлялась. Мне даже стало её не хватать.

Дальше мы, кажется, пересели на электричку. Потом топали ещё километра три. Потом ставили палатки. Ели-пили.

Потом я пошёл соревноваться со своими песнями и пролетел на первом же туре.

И, загрузив, пошёл бродить по лагерю. И окрестностям. Грусти моей поприбавилось, когда на лесной тропинке я вляпался в говно.

Пришлось потом долго отмывать кроссовку в местной канавообразной речушке.

И это впечатление, наряду с гадкими архаичными туалетами типа «уборная» (дырки в земле, никаких перегородок, и всё это обтянуто по бокам полиэтиленом, и перегородка между мужским и женским отделением – также полиэтиленовая и рваная) напрочь заслонило все остальные фестивальные впечатления.

Наша интеллигенция научилась читать умные книжки и петь умные песни. Но обустраивать места интимного поль-

зования не научилась и до сих пор.

А, может, в самом деле, зря я рефлексирую? Может, подавляющему большинству соотечественников очень нравится коллективно справлять большую и малую нужду?

Вечернее-ночное сидение на горе я помню смутно. Помню, занимали заранее места на горе. Потом сцена в форме гитары внизу, на реке, осветилась электрическим светом, и часов на пять-шесть-семь затянулся концерт.

Кажется, когда со сцены запевали гимнообразные песни, вся гора вставала, подпевала и подмигивала фонариками и свечками.

А ещё, помню, гвоздями фестиваля были молодые Иваси – Иващенко с Васильевым, ходившие от костра к костру со своими песнями. У каждого костра они собирали большую толпу, и всё пели, и пели, и пели.

Вокруг на длинных прутиках торчали микрофоны от портативных кассетных магнитофонов. Потом эти лесные записи расходились по стране десятками копий.

Студийная запись в нашей среде ещё не была как следует налажена.

А потом фестиваль кончился, и Женька Меренков, уроженец Магадана, пригласил нас в свою куйбышевскую квартиру, которую его мама получила за годы, отданные труду на просторах Сибири и Дальнего Востока.

Помню, мы накрыли на стол (точней, на пол, разложив клеёнку) и долго ждали, пока помоются все девочки. Очень

хотелось есть, но руководство (то есть сам Меренков) почему-то считало неприличным начинать трапезу в отсутствие женской части компании. А девочки наши, хотя их было трое, явно не торопились – ванна была одна, и обряд омовения они совершали, естественно, по одной.

И, видимо, очень тщательно.

Так что я, например, сутки не жрамши, изрядно измучился, глядя на накрытый на полу обед. И заклеялся впредь ездить куда бы то ни было с этой компанией – тем более на эту неудобоваримую «Грушу».

Свой обет я держал 14 лет. Пока Вова Розанов не соблазнил меня отдельным автобусом, который пришёл в арку возле кинотеатра Ханжонкова только на вторую ночь. И тащился до «Груши» целые сутки, то и дело ломаясь.

Это чудо отечественной автобусной техники предоставила нам бесплатно московская организация лужковской партии «Отечество». Словно репетируя своё поражение на выборах и подтверждая известную поговорку про бесплатный сыр.

В общем, ехали мы, ехали и, наконец, приехали.

Ничего не изменилось.

То есть почти ничего. Больше стало торговли, ещё меньше стало «наших» песен. За умеренную плату можно было арендовать мобильник и поговорить с Москвой. Купить пластиковую бутылку с палёной водкой. Покушать чего-нибудь не из костра, а из ларька.

Но всё так же развевались на ветру целлофановые паруса примитивных дырочно-выгребных туалетов.

Всё также у каждого костра обособленно кучковалась самостийная компания, плохо переваривавшая чужаков.

И я снова не завоевал никаких призов.

А в лесу снова вляпался – кроссовкой в говно.

Ощувив, что это уже становится традицией, я решил пресечь сие на корню.

И боле я на «Грушу» не ездук.

Пусть не стал лауреатом, зато и обувь больше не пачкаю.

Д

Двадцать пять кругов по палубе

Лето 89-го. Теплоход «Зосима Шашков» круизует туда-сюда по Волге. Теплоход полон сотрудников МИДа разного ранга, включая курьеров и секретарш. Я состою в команде артистов, нанятых за бесплатное питание и проживание развлекать этих самых МИДовцев.

Живём мы вчетвером: я, Паша Максименко (бард-импровизатор, лет на 10 постарше меня) и два диск-жокея, которых ещё не переименовали в ди-джейев.

Одного, повыше, кажется, звали Олегом.

Олег в начале путешествия дружил с Ленкой Швецовой из МИДовского культурного центра, потом переключился на

её подругу, которая в этом же центре занимала пост повыше и была ответственной за всю нашу культурную программу. А Ленка Швецова осталась без пары.

Вместе с ней на теплоходе путешествует её брат, также озабоченный молодой человек. Оба они, кстати, генеральские дети. Этот самый Ленкин брат захаживает в гости к нашим диск-жокеям.

Живём мы на самой нижней палубе; наши иллюминаторы в метре от поверхности воды. Наискосок от нас расположились четыре девушки, каждой из которых около тридцати. Девушки пухленькие, не сказать, чтобы красавицы, И явно не послы и не послицы.

И вот ни с того ни с сего Ленкиному брату и генеральскому сынку приходит счастливая мысль: позвать этих скучающих барышень на групповушку. Диск-жокеи одобрили, я в страхе и стыде промолчал, и девушки были ангажированы.

Паша Максименко, как старший товарищ, тут же ушёл к кому-то в гости.

А я был шокирован, участвовать наотрез отказался, оделся потеплей и пошёл гулять по палубе.

Был вечер и было холодно.

Ходил я медленно и вдумчиво. В течение часа отмотал кругов десять.

Посидел в баре.

Постоял на корме.

Поискал Пашу.

Пошёл проверил крепость замкнутой двери. Но мой стук не ответило даже эхо. За дверью стояла гробовая тишина. Оно и понятно – секс шума не любит.

Я снова пошёл гулять по палубе.

Отмотал ещё кругов десять – более медленной походкой.

Ещё подольше посидел в баре.

Постоял на корме, наблюдая как алое солнце торжественно опускается в волжскую воду.

Ещё раз попытался найти Пашу, но он спрятался хорошо.

Прошло, наверно, часа два с половиной.

За дверью нашей каюты по-прежнему стояла пугающая тишина. Ключа у меня не было, на мои постукивания никто не реагировал.

Я замёрз. Я готов был штурмовать и барабанить. Но постеснялся и снова пошёл мотать круги.

На этой раз я передвигался ещё медленней – будто в замедленной съёмке. Солнце уже утонуло. Ветер крепчал.

В коридоре, на диване для курильщиков, я даже попытался подремать, но тут нашёлся Паша и стал импровизировать стихами.

Мы зашли в бар, хлопнули по коньячку. И пошли спать.

«А, дезертир» – сонно встретил меня усталый Олег.

«Ну как, всё прошло удачно?» – то ли съязвил, то ли поинтересовался я у него.

«Более-менее» – Олег глубоко зевнул и быстро уснул.

Спали диск-жокеи в ту ночь очень крепко, как комбайнё-

ры в страду.

А мне не спалось. И я снова отправился мотать круги по палубе.

Зависти к соседям я не испытывал. Испытывал, скорей, брезгливость вкупе с жалостью. Ведь как сказал Габриэль Гарсия Маркес, «Секс – утешение для тех, кто не нашел любовь».

А уж чего-чего, любви мне хватало. Просто не нашлось ещё человека для её реального воплощения...

Дворянская фамилия Домбровский

Начинать эту историю надо, наверное, с Шуры Л.

Шура был крепкий деревенский парень, такой же рыжий, как я, но года на четыре постарше и после армии.

Мы вместе отдыхали в зимнем маёвском оздоровительном лагере, где я прославился песнями, а Шура – тихими поисками спутницы жизни на одну ночь.

Жили мы вдвоём в одной комнате, и Шурино либидо этот факт воспринимало, видимо, как руководство к действию.

Несмотря на зиму, спал Шура без трусов. Возможно, так он готовился к предстоящему свиданию, до которого дело так и не дошло, хотя я был готов где-нибудь погулять полночи.

Утром мы, как идиоты, бегали на зарядку. Кроме собственно бега, делали разные парные упражнения. В том чис-

ле вставали спинами друг к другу, переплетались руками и, наклоняясь вперёд, поднимали партнёра на своей спине. Моим партнёром был Шура, и был он раза в полтора меня крупней. А потому при очередном поднятии всем весом перекатился мне на голову.

Я упал носом в лёд – сверху мою голову плотно прижимало мощное Шурино тело.

Так я познакомился с лагерным врачом, чудной женщиной Светланой Михайловной, вдовой заведующего кафедрой систем жизнеобеспечения космонавтов.

Светлана Михайловна прекрасно восстановила мой нос, мы подружились, и она стала деятельной поклонницей и пропагандисткой моих песен.

С её лёгкой руки я стал выступать по разным хорошим компаниям.

Водила меня Светлана Михайловна и в только что реанимированное Дворянское собрание. При этом она прожужжала мне все уши о важности генеалогии. Из её рассуждений выходило, что приличный человек обязательно должен иметь дворянские корни.

А поскольку я, по её мнению, человек не только приличный, но и талантливый (да чего уж там скромничать – гениальный!) – я не просто должен, я обязан иметь дворянские корни.

Я порылся в корнях своего скромного и унылого генеалогического древа и не обнаружил там ничего, кроме на-

веки полусогнутых в полях и на огородах землепашцев, нескольких представителей рабоче-крестьянской интеллигенции, похотливого лесника и какого-то не весть откуда забрёдшего коробейника, разогревавшего базарную толпу шумными речёвками типа «А ну-у кому пирожки! Налетайте, мил дружки! А кто купит бутербродки, тот получит рюмку водки!»

В общем, никакими дворянами там и не пахло. Да и откуда им там пахнуть, если я – классический советский интеллигент второго поколения, сын инженера и учительницы начальных классов, ну максимум – третьего (мамин отец был журналистом, репрессированным по наговору завистника-соседа). Копни глубже – появляются вышеупомянутые землепашцы, хитрый лесник и голосистый коробейник.

С этим надо было что-то делать.

И судьба послала мне неожиданный подарок.

Этот подарок по имени Света по уши влюбился в мои песни и, судя по всему, и в меня.

Кроме всех приятных достоинств у Светы было одно занятное – а именно её фамилия. Красивая фамилия – Домбровская.

Мы со Светланой Михайловной решили, что эта фамилия явно дворянская.

Отношения наши со Светой развивались стремительно и вели к неминуемому хэппи-энду. И не то что бы её фамилия являлась решающим фактором – но всё же она придавала

нашему роману романтический флёр.

В общем, при замужестве (пардон, женитьбе) я взял фамилию жены.

И из Курилова стал Домбровским.

На моё решение накладывалась внутренняя неприязнь к собственному прошлому – с травлей в школе, с безответной студенческой любовью к роковой девочке Тане П. И почему-то вспоминались мамины слова при их ссорах с пьяным папой: «Ох, уж эта куриловская порода!»

Короче, я решил эту породу улучшить. Или хотя бы название заменить.

Что и было сделано.

Перед этим я почти год просуществовал двулично: продолжал учиться, постепенно бросая МАИ, под фамилией Курилов, а на концертах выступал под псевдонимом Славин.

Сначала я придумал для себя другое имечко – Артём Славянец, но ребята из «Бригантины» объяснили мне, что это уж как-то слишком русопято, разлюляй-люли-малина, ноги в лапти, в руки балалайку – и я сократил псевдоним до Славина.

Но и с этой фамилией было всё не слава Богу. Юрьич, руководитель нашего лито, объяснил мне, что у нас в стране эта псевдо-фамилия, в общем-то – еврейская. Получается, мол, ты сам себе сделал обрезание.

И тут весьма кстати эта любовь и эта свадьба.

Тот же Юрьич мне сказал, что одна из наших бригантин-

щиц, Катя – потомок польского мятежного генерала Ярослава Домбровского, деятеля Парижской коммуны.

И я возомнил себя польским шляхтичем.

Последовала чехарда с документами – ибо я поступил в Литературный ещё под старой фамилией, и некоторое время мне пришлось объяснять преподавателям, что я теперь Домбровский.

Вот так вот весело, с оптимизмом, я расставался со своим тёмным прошлым, предвкушая светлое будущее.

Постепенно все привыкли ко мне как к Домбровскому, пару раз я выступил на телевидении и очень часто концертировал под этой фамилией. Вступил в Союз писателей Москвы. В аспирантуру Литинститута. И на Высшие курсы сценаристов и режиссёров.

Работал на радио, в «Литературной газете». Издал книжку стихов.

У нас со Светой родились дети, Даша и Саша. Домбровские.

И друг к другу мы обращались исключительно по фамилии: Домбровский! – Домбровская!

И вот, на восьмом году нашей общей жизни попадаетея мне в руки Светино свидетельство о браке с первым мужем. Из которого явственно следует: Домбровский – это фамилия Виталика, а напротив Светланы стоит совсем другая девичья фамилия.

Некоторое время я тупо смотрел в эту бумажку, пахну-

щую временем и обманом. А потом пошёл и напился.

Света побелела, как разоблачённый шпион перед сотрудником контрразведки.

Помолчали.

Покричали.

Попытались найти контакт. И оправдание.

Стали выяснять нюансы. Дабы отвлечься от главного вопроса, Света попыталась сосредоточить моё внимание на этих нюансах.

– Да ты не понимаешь, это вообще какая-то левая фамилия! Настоящая фамилия Виталика – Израилевич!. Согласись, уж слишком в лоб! Слишком уж вызывающе для Советского Союза! Вот Виталькины родители и придумали афёру: нашли какого-то тридесятого родственника по фамилии Домбровский, провели какую-то хитроумную процедуру, вот Виталик и стал Домбровский!

– А ты? А ТЫ???

– вопрошал я.

– Ну и я... стала... – потерянно брякнула Света.

– А дети? Наши дети? Ведь это НАШИ дети! МОИ – от тебя! То есть – ТВОИ от меня!!! – тут я остановился. – погоди, а дети-то хоть мои?

Света выразительно покрутила пальцем у виска (своего, разумеется).

– Ну, хоть на этом спасибо!

– Пожалуйста!

– Но вообще... как ты могла? Они же семь лет носили фамилию... чужого дяди!

– Ну почему чужого... Не совсем уж чужого...

– Спасибо!

– Пожалуйста. Но ты тоже хорош – дворянскую фамилию ему подавай. Расчирикался – корни начал копать. Вот я тебе и... накопала...

Я был потрясён. Света была готова пойти на то, чтобы дети носили фамилию её первого мужа – лишь бы не раскрывать тайну своего неэлитного происхождения.

В ЗАГСе, когда я возвращал назад свою родную фамилию – себе, Свете и детям – долго на меня таращили глаза. А когда Света пошла туда же с визитом, ей зачем-то захотелось поделиться нашей тайной с паспортистками.

Паспортистки выразительно покачали головами – согласитесь, фортель тот ещё!

Эту историю я рассказал только двоим людям – мастеру на киношных курсах Валерию Семёнычу Фриду и старшему товарищу по Клубу 12 стульев Павлу Феликсычу Хмаре. Оба очень удивлялись и, похоже, были несколько разочарованы, что я оказался не-евреем.

А вот на кафедре русской литературы 20 века Литературного же института товарищи, отличавшиеся пристрастным отношением к лицам еврейской национальности, мне просто не поверили – мол, опять эти евреи воду мутят, фокусы-по-

кусы с фамилиями устраивают, но нас-то на эти понты не возьмёшь и так далее.

Всё это меня, конечно, очень удручало, и я на какое-то время заимел личную неприязнь – и к семитам, и к антисемитам. Ну и ко всем остальным.

Прошли годы, страсти улеглись, и теперь я их всех нежно люблю. Издалека. А что касается жены – конечно, я недели три был в шоке, но... право, экая забавная глупость с её стороны.

Или как говорят современные подростки – глупость неревальная.

А на днях, спустя сто лет после скандала, Светлана Викторовна мне заявляет:

– Ну и зря сменил. Курилов – разве это фамилия поэтическая? Вот Домбровский – таки-да.

Таки-нет. Пускай моя фамилия хоть и менее поэтическая, и кондово-рабоче-крестьянская, зато своя.

А насчёт поэзии посмотрим.

Две студентки за углом...

С Людкой Крейдиной и её двоюродной сестрой Вероникой Вайнштейн я познакомился на Крымской базе МАИ под Алуштой. Я там работал, они отдыхали.

Чтобы не трястись туда-сюда в автобусе до Алушты, я но-

чевал в бытовке, расположенной в строящемся эллинге (гараж для лодок). А Людка с сестрой – в корпусе для отдыхающих.

Вообще, как попали не-маёвки на Маёвскую базу, это вопрос отдельный. Туда и не всякому маёвцу суждено было попасть. Я, например, пока не ушёл в академку и не попал сюда в качестве бойца ПССО, даже и не мечтал о подобном везении.

Людка была из МИИТа, но ей повезло.

Но речь не об этом. А о том, что в первый же день знакомства она меня очень удивила.

Это было воскресенье, и девчонки решили посетить Алушту с целью, как бы сейчас сказали, шопинга. Меня прихватили в качестве аборигена.

Мы вышли на шоссе-серпантин. До Алушты – 20 км. Автобусов рейсовых в ближайшие два часа не предвиделось, и для меня оставалось загадкой, на чём и, главное, на какие шиши, мы поедем.

«Не парься, щас тачку поймаем!» – бодро улыбнулась Людка. И тут же замахала рукой проезжающей легковушке.

Разговор был коротким.

«Вам куда?» – «До Алушты подвезёте?» – «Садитесь».

И мы сели. И доехали до центральной алуштинской площади. Люда указала место, где отсановиться.

И тут наступила кульминация. Людка наклонилась ко мне и заговорщицки прошептала: «Готовься». Я даже не успел

спросить, к чему мне готовиться.

Машина остановилась. Девочки быстро схватили вещички и пульей вылетели из машины. Я, как ошпаренный, вылетел следом.

И как только мы оказались вне салона, Людка быстро хлопнула дверцу и громко крикнула «Спасибо!»

Обалдевший водитель обалдело смотрел нам вслед.

Видимо, он потерял дар речи.

А потом плюнул, развернулся и уехал.

Я тоже был шокирован.

«Люда, блин, ну так же нельзя! Это же какая-то сверхнаглость!»

«Ну, мы же не обещали ему платить за проезд, правильно? И мы его поблагодарили, правильно?»

Я офигевал: «И что, вы каждый раз так ездите в Алушту?»

«Каждый раз. И не только в Алушту. Мы вообще так путешествуем».

«И не боитесь? Вы же девчонки, а водитель, обычно, мужик...»

«Но с нами же был ты... – лукаво улынулась Людка. – Или ты не мужчина?»

Разумеется, в нынешнее время, более жёсткое и приземлённое, Людкин номер вряд ли бы прошёл. А если бы прошёл, то совсем с другим финалом. Даже страшно подумать.

А что же подумал я тогда, в то солнечно-перестроечное время?

«Ну, ничего себе еврейские штучки!» – вот что я подумал.

И поплёлся заниматься шоппингом с этими храбрыми и хитрыми девицами.

Держи пять!

Разные бывают пристрастия и антипатии.

Костик Злобин, например, не любил кошельки. Я и сам их недолюбливаю. Нет, правда, кошельки – это что-то женское. Этаким маленьким ридикуль.

Короче, из-за этой нелюбви к кошелькам Костик хранил деньги в самых неожиданных местах.

Например, в зачётке.

И вот однажды – в первую же свою сессию, на первом курсе – Костик пошёл сдавать физику. И всё бы ничего, да только положил он в зачётку пятирублёвую купюру.

Почему положил, зачем? – да затем что до стипендии оставалось непонятно сколько дней, а пятёрка эта была последняя. Вот он и таскал её повсюду с собой, в самом надёжном месте. Ну, правда, не в трусах же прятать?

Короче, приходит он на экзамен, берёт билет, а зачётку, как водится, у преподавателя оставляет. Преподавателя, кстати, Бреус звали. Сергей Николаевич. Кандидат физических наук.

В общем, сидит Костик за партой, готовит ответ на билет и вдруг слышит флегматичный голос Бреуса, вещающий с

кафедры на всю аудиторию – негромко, но внятно:

– Ну что же вы, Константин Анатольевич? Как же вы меня разочаровали...

И вздыхает – Бреус.

Костик напрягается и в этом своём усиливающемся напряжении поднимает на Бреуса глаза. И думает:

– Вот чёрт, где это я успел проколоться? Ведь вроде только сел?..

А Бреус, шурша Костиковой зачёткой, продолжает вздыхать:

– Да, Константин Анатольевич, удивили вы меня. Прямо скажем, не ожидал я от вас такого...

Костик лихорадочно соображает, где ж он прокололся. Ага, думает, наверно, на лекции когда-то что-то не то сделал. Прогулял пару раз – а Бреус, наверно, отмечает, бдит. В смысле, бдел. А теперь всё всплыло – согласно его записям.

А Бреус всё не унимается:

– М-да, Константин Анатольевич, мелкогато вы всё-таки плаваете. Очень мелко...

Костик уже буквально сгорает со стыда. Он уже фактически под парту залез, чтоб не так стыдно было и чтоб видно его не было.

Тут Бреус вынимает из зачётки пятирублёвку и кисло так её на свет просматривает, приговаривая:

– Ну, всего-то пять рублей... Мелкогато...

И тут до Константина начинается доходить весь ужас ситу-

ации. Руки его автоматически полезли в карманы, всё прощупали, и посылают в мозг сигнал: ну точно – нету пятёрки! И Костик всё отчётливей припоминает, как её в зачётку положил.

А Бреус уже демонстрирует Костику и всем присутствующим эту самую несчастную пятёрку.

Константин, уже весь красный, как рак, мямлит «извините!» – мол, я совсем не то имел в виду.

«Да все вы так...» – вздыхает Бреус.

Разумеется, после такой артподготовки настроение у Костика упало, и билет отвечать он пошёл уже совершенно убитый.

А зря. Потому что Бреус неожиданно его воскресил.

– Вы вообще откуда на нас такой свалились? – спрашивает.

– Из Димитровграда, – тускло отвечает Костик.

Бреус оживился:

– Надо же. А я ведь был в Димитровграде. Я там в НИИ-АРе работал.

– А у меня там папа тоже... в смысле работает... – начал оживать Костик, просыпаясь вместе с своей надеждой.

Слово за слово.

Поговорили о Димитровграде, о НИИАРе. Хорошо так поговорили, по душам.

Потом Бреус флегматично смотрит на листок с ответами Костика:

– Ну что у вас там?

Взглянул мельком на то, что Костик там написал и говорит:

– Ну ладно, идите...

И что-то в зачётку ставит. А потом аккуратно пятирублёвку в неё возвращает и Костику отдаёт.

Костик в коридоре зачётку открыл – а там не только пятёрка лежит, но и пятёрка стоит – по физике, за экзамен.

Вот такие душевные люди работали в наше время в Московском авиационном институте. Строго говоря, и зарплаты у них были приличные, не то что сейчас у преподавателей.

Может, и поэтому они взяток не брали. Сейчас-то, разумеется, эта история выглядит абсолютно фантастической.

А жаль...

Долгие разговоры с Алма-Атой

Недалеко от метро Войковская во времена нашей юности был междугородный телефонный переговорный пункт. Сперва там стояли автоматы с пятнашками, а потом их заменили на обычные пластмассовые телефоны. Пятнадцать копеек уже бросать в них не надо было, просто разговариваешь, а в конце подходишь к окошечку и платишь по предъявленному тебе счёту. Электроника, блин!

Но на их электронику нашлась смекалка Олега Рутковского, уроженца города Алма-Аты.

Олег быстро сообразил, что система сия электронная начинает работать лишь после того, как ты нажимаешь на специальную кнопочку. То есть: ты набираешь номер, слышишь «Алё?» собеседника на другом конце провода – и, чтобы тебя услышали, нажимаешь на эту самую кнопочку. Нажал на кнопочку – и часики, отсчитывающие время твоего платного разговора, начинают тикать. Если же на кнопочку не нажмёшь, тебя твой собеседник не слышит – это, разумеется, минус. Но ты его слышишь – и это был плюс, который внаглую решил использовать Олег.

Что он сделал – он не поленился и написал своим родственникам в Алма-Ате, подробно объяснив работу сего телефонного аппарата. А ещё он напомнил им, что разговоры с Алма-Атой влезают бедному студенту в копеечку – то есть дорого обходятся. Дальше следовало рациональное предложение: когда я звоню (предлагал родственникам Олег), я сперва с вами не разговариваю, а просто слушаю – вы же рассказываете мне все свои новости, а потом спрашиваете, как у меня дела – и я вам отвечаю.

Дальше всё было делом техники. Межгород на любом домашнем аппарате звонил громче обычного звонка, к тому же у родичей с Олегом было условлено конкретное время. Родственники поднимали трубку, по очереди рассказывали ему свои новости – продолжалось это минут 15-20, затем Олег включал кнопочку, быстро сообщал, что у него всё хорошо, укладываясь максимум минуты в две.

После чего с чистой совестью клал трубку, выходил из кабинки, подходил к кассе и расплачивался по предъявленному счёту. Когда кассирша смотрела в этот счёт, глаза у неё регулярно лезли на лоб: она же видела, что Олег сидел в кабинке не меньше двадцати минут. А счёт система выписывала за 2 минуты – то есть сущие копейки. Налицо был явный подлог, но ничего поделывать кассирша не могла: Рутковский придумал вполне легальный способ телефонной экономии.

До свадьбы заживёт

Общежитейская красавица Наташка готовилась к свадьбе. Сезон был хмурый, то ли осень, то ли зима, а Наташка очень хотела выглядеть на собственной свадьбе и прилегающих к ней фотокарточках счастливой и, главное, загорелой – как заморские звёзды на обложках западных журналов.

Но как это сделать? Соляриев на каждом углу в то перестроечное время ещё не стояло. Стало быть, проблему надо было решать как-нибудь самой. Сподручными средствами.

Уж не знаю где, но раздобыла Наташка где-то настоящую ультрафиолетовую лампу. Включила – и села перед ней, подставив под горячие лучи довольное лицо. С широко открытыми глазами. Потому что никто Наташку почему-то не предупредил, что при общении с ультрафиолетовой лампой глазки надо закрывать.

Неизвестно, сколько она так сидела, пялясь на расплыва-

ющеся маленькое солнышко. Известно только, что прежде чем загореть лицом, она спалила свои широко открытые глазки. Появилась в них вдруг чудесная страшная резь, хлынули ручьями слёзы и – что самое обидное – начисто исчезло изображение.

То есть сидит она перед этой лампой и ни фиги не видит. Ну, абсолютно.

Вызывают ей скорую помощь.

Скорая приезжает, выскакивают из неё добры молодцы в белых халатах, берут её под ручки и сажают внутрь.

Наташка едет, а куда – не знает. Потому что не видит – точно заложница в кино, которой глаза чёрной тряпкой крепко завязали.

Добры молодцы привозят её куда-то, заводят в какой-то кабинет и говорят:

– Ну, давайте, девушка – раздевайтесь...»

Наташка напряглась и растерянно спрашивает:

– А... до какого раздеваться?

В смысле, до каких пределов?

А ей и говорят:

– Да совсем раздевайтесь!

Мы, мол, вас должны осмотреть!

Наташка напряглась ещё больше:

– А чего смотреть? Я ж с глазами! Мне бы глаза вылечить...

– Вылечим-вылечим! – говорят. – Только сначала раздень-

тесь...

А надо вам напомнить, что Наташка – девка вообще-то реально красивая. И лицо у неё красивое – и без всякого загара. И тело тоже, говорят, красивое. Короче, симпатичная девка.

Но в такой ситуации красота не поможет. Скорей, наоборот. Одна надежда – на голос.

Вот Наташка и начала орать: «Помогите!» да «Спасите!» Наверно, это её и спасло. Добры молодцы куда-то смылись, а потом пришёл настоящий врач, окулист – то есть её всё-таки в больницу привезли, а не в какой-нибудь бандитский подвал.

Доктор профессионально капнул Наталье в глаза, и боль её немножко отпустила. И стало возвращаться смутное зрение.

А к свадьбе вернулось окончательно.

Свадьба прошла шумно и счастливо. А уж после искать этих добрых молодцев из «Скорой» Наташка не стала.

Она мужу вообще ничего не сказала.

Зачем?

Обошлось же всё...

Дубосековская, 9

Это адрес нашей общаги, общаги шестого факультета. В которую я всё не мог заселиться – и в год своей первой по-

пытки поступления (неудачной), и в год своей второй попытки. Я всё время опаздывал. Поэтому летом, на абитуре, жил по разным знакомым. Случалось, и на вступительные экзамены ездил поездом из Костромы.

И вот, наконец, я поступил. Получил бумажку из приёмной комиссии и пошёл заселяться.

Меня встретила почти-квадратоподобная дамочка-комендантша. Изрядно испитое лицо её наверняка делало её старше и в чём-то опытней. Вокруг неё крутился юркий мальчишечок с типажом нестарящего мальчика. Вот только лицо у этого мальчика было также испитое и краснорозее.

С явным сожалением она заселила меня в одну из комнат на 1 этаже, под номером 111, рядом с комнатой вахтёрши. В комнате я столкнулся с провалившимися ребятами, пакующими чемоданы. Потом пришли мои будущие соседи, и первую нашу ночь мы ночевали всемером на четырёх кроватях.

А утром я отправился к кастаньянше и получил комплект белья, за который в нескольких местах расписался. Комплект состоял из матраса, подушки, одеяла и постельного набора (простынь, пододеяльник, наволочка).

Кастаньянша выглядела непьющей и, как выяснилось, имея высшее образование, пошла на эту должность исключительно с целью скорейшего получения квартиры. Должность ей не нравилась, она физически от неё страдала, надувая пухленькие губки.

По местной традиции кастелянша активно использовала бесплатный труд первокурсников – по известному только ей графику мы должны были раз в две недели помогать грузить ей грязное бельё в грузовик, отправлявшийся в прачечную. То, что эта повинность всегда совпадала с занятиями в институте, ею в учёт не принималось, а нам самим приходилось потом утрясать сию проблему.

Вместе таская тюки, мы первое время даже сдружились с нею.

Но уже на втором курсе просто игнорировали.

Даже здороваться переставали. У меня это получилось как-то само собой – мы перестали общаться, тюки в день смены белья таскали уже новые первокурсники, я поначалу по привычке кивал при встрече, а потом и кивать перестал.

А зря.

Потому что к концу моего пребывания злопамятная женщина подготовила для меня неприятный персональный сюрприз.

Представьте себе – весна и самый разгар перестройки.

Я женился, сменил фамилию, и Евгений Михайлович Винокуров взял меня в свой поэтический семинар в Литературном институте.

С МАИ меня связывает пустая формальность – прописка.

Но чтобы выписаться из общежития, я должен собрать обходной лист. Который должна подписать в том числе и кастелянша.

Я иду к ней в каптёрку, и она, улыбаясь, показывает перечень вещей, которые я должен вернуть.

Помимо постельного белья, матраса, подушки и одеяла там стоит второе одеяло и подушка.

У меня никогда не было второго одеяла. И второй подушки.

Но в перечне стоит моя роспись.

На что мне и указывает торжествующая кастелянша.

К тому времени я уже заплатил штраф в пятикратном размере за учебник, невозвращённый мною в библиотеку, утеранный подлым соседом, отказавшимся компенсировать хотя бы половину штрафа.

Что ж, за одеяло с подушкой, которых у меня никогда не было, тоже платить? Этак никаких денег не хватит!

И я преспокойно иду в соседскую комнату, хладнокровно беру с первой попавшейся постели подушку с одеялом и несущих кастелянше в каптёрку.

– Вот видишь, всё нашлось! – заявляет она. – А говорил, не было.

И всё с той же официальной улыбочкой подмахивает мой обходной листок.

Надеюсь, квартиру свою она всё-таки выслужила.

И в квартире этой нашлось место для одеял и подушек, отписанных мадам кастеляншей у бедных студентов.

Спокойной же вам ночи, мадам!

Дышите глубже – станете звездой!

Воодушевлённый первыми успехами на сцене, я решил поставить голос. Чтоб не пищать, как большинство эстрадных артистов или, тем более, костровых светил КСП.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.